

ВАСИЛИИ ГРОССМАН

НАРОД БЕССМЕРТЕН



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 53—54
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
МОСКВА 1942



ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

НАРОД БЕССМЕРТЕН

Издательство „Правда“
Москва — 1942

ПОВЕСТЬ ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕННОМ АВТОРОМ ВИДЕ

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Август	3
Военный совет	12
Город в сумерках	24
Гибель города	34
В штабе полка	45
Марчихина Буда	47
Батальон Бабаджаняна	59
В окопах	64
Горько ли, тошно стоять	74
Леня	87
Утром батальону драться	96
Познай самого себя	104
Смерть не победит	117

Зам. отв. ред Н. И. ЕРУХИМОВИЧ

Издательство „Правда“	Изд. № 704.
А61633	Заказ тип. 2018
Формат бумаги 105×148 мм.	Тираж 50 000 экз.
Цена 60 коп.	Печ. л. 4. Зн. в 1 п л. 43000.
	Подписано к печати 11/IX1942 г.

Типография „Красное знамя“, Москва, Сушцевская, 21

АВГУСТ

Летним вечером 1941 года по дороге к Гомелю шла тяжелая артиллерия. Пушки были так велики, что многоопытные, все видевшие ездовые с интересом поглядывали на колоссальные стальные стволы. Пыль висела в вечернем воздухе, лица и одежда артиллеристов были серы, глаза воспалены. Лишь немногие шли пешком, большинство сидело на орудиях. Один из бойцов пил воду из своего стального шлема, капли стекали по его подбородку, увлажненные зубы блестели. Казалось, что артиллерист смеется, но он не смеялся — лицо его было задумчиво и утомлено.

— Во-оздух! — протяжно крикнул шедший впереди лейтенант.

Над дубовым леском, в сторону дороги, быстро шли два самолета. Люди тревожно следили за их полетом и переговаривались:

— Это наш!

— Нет, немец.

И, как всегда в таких случаях, была произнесена фронтовая острота:

— Наш, наш, где моя каска!

Самолеты шли наперерез дороги, и это значило, что они наши: немецкие машины обычно, завидя колонну, разворачивались на курс, параллельный дороге.

Мощные тягачи волокли орудия по деревенской улице. Среди белых мазаных хаток, маленьких деревенских палисадников, засаженных курчавым золотым шаром и красным, горящим в лучах захода, пионом, среди сидящих на завалинках женщин и белобородых стариков, среди мычания коров и пестрого собачьего лая странно и необычно выглядели огромные пушки, плывущие по мирной вечерней деревне.

Возле небольшого мостика, стонавшего от страшной, непривычной ему тяжести, стояла легковая машина, переживавшая, пока пройдут пушки. Шофер, привыкший, очевидно, к такого рода остановкам, с улыбкой оглядывал пьющего из каски бойца. Сидевший рядом с ним батальонный комиссар то и дело смотрел вперед — виден ли хвост колонны.

— Товарищ Богарев, — сказал шофер с украинским выговором, — може поночует здесь, а то стемнеет скоро?

Батальонный комиссар покачал головой.

— Надо спешить, — сказал он, — мне необходимо быть в штабе.

— Все равно ночью не проедем по этим дорогам. в лесу ночевать будем, — сказал шофер.

Батальонный комиссар рассмеялся:

— Что, молока захотелось?

— Ну, и что же, ясное дело, выпить молока, картошки бы жареной поели.

— А то и гусятину, — сказал батальонный комиссар.

— А хiba ж нет? — с веселым энтузиазмом сказал шофер.

— Через три часа мы должны быть в штабе, какие бы ни были дороги и как бы ни было темно.

Вскоре машина выехала на мост. За ней побежали белоголовые ребятишки.

— Дядьки, дядьки, — кричали они, — возьмите огурцов, возьмите помидоров, возьмите грушек, — и они бросали в полуспущенное окно автомобиля огурцы и недозрелые груши.

Богарев помахал ребятам рукой, почувствовал, как холодок волнения прошел по его груди. Он не мог без одновременно горького и сладкого чувства видеть, как провозжали крестьянские ребятишки отступающую Красную Армию.

Сергей Александрович Богарев до войны был профессором по кафедре марксизма-ленинизма в одном из московских вузов. Исследовательская работа увлекала его, он старался меньше часов уделять чтению лекций; главный интерес Богарева был в научном

исследовании, началом им года два тому назад. Приходя с работы домой и садясь ужинать, он вытаскивал из портфеля рукопись и читал ее. Жена расспрашивала его, по вкусу ли ему еда, достаточно ли посолена яичница, он отвечал ей невпопад; она сердилась и смеялась, а он говорил ей: «Знаешь, Лиза, я сегодня испытал подлинное наслаждение — читал несколько писем Маркса, адресованных Лафаргу, их лишь недавно откопали в одном старом архиве». Она слушала, увлекаясь невольно его увлечением и волнением. Она любила его и гордилась им — знала, как уважают его товарищи и с каким восхищением говорят о прозрачной цельности и чистоте его натуры.

И вот Сергей Александрович Богарев — заместитель начальника отдела политуправления фронта. Иногда ему вспоминаются прохладные залы институтского хранилища рукописей, стол, заваленный бумагами, лампа под абажуром, поскрипывание колесиков подвижной лестницы, которую передвигает заведующая библиотекой от одной книжной полки к другой. Иногда в мозгу его всплывают отдельные фразы из недописанной им работы, и он задумывается над вопросами, так живо и горячо волновавшими его.

Машина бежит по фронтовой дороге. Пыль темная, кирпичная, пыль желтая, мелкая серая пыль, — от нее лица кажутся мертвыми, — тучи пыли стоят над фронтовыми дорогами. Эту пыль поднимают сотни тысяч красноармейских сапог, колеса грузовиков. гусе-

гицы танков, тягачи, орудия, копытца овец, свиней, табуны колхозных лошадей, огромные стада коров, колхозные тракторы, скрипящие подводы беженцев, лапти колхозных бригадиров и туфельки девушек, уходящих из Бобруйска, Мозыря, Жлобина, Шепетовки, Бердичева. Пыль стоит над Украиной и Белоруссией, пыль клубится над советской землей. Ночью темное августовское небо багровеет злым румянцем деревенских пожаров. Тяжкий гул разрывов авиабомб прокатывается по темным дубовым и сосновым лесам, по трепетному осяннику; зеленые и красные трассирующие пули прошивают тяжелый бархат неба, как белые звезды. вспыхивают разрывы зенитных снарядов, нудно гудят в высоком мраке хейнкели, груженные фугасными бомбами, кажется, звук их моторов говорит: — ве-з-зу, ве-з-зу. Старики, старухи, дети в деревнях, хуторах, провожая бойцов, говорят им: «Молочка выпейте, голубчики... съешь творожку, пирожок всзьми, сынок... огурчиков на дорогу». Плачут, плачут старушечьи глаза, ищут среди тысяч пыльных, суровых, утомленных лиц лицо сына. И протягивают старухи белые узелки с гостинцами, просят: «Бери, бери, голубчик, все вы в моем сердце, как дети родные».

Немецкие полчища двигались с запада. На германских танках нарисованы черепа с перекрещенными костями, зеленые и красные драконы, волчьи пасти и лисьи хвосты, рогатые олени головы. Каждый немец-

кий солдат несет в кармане фотографии побежденного Парижа, разрушенной Варшавы, опозоренного Вердена, сожженного Белграда, Брюсселя и Амстердама, Осло и Нарвика, Афин и Гдыни. В каждом немецком кармане — фотографии немецких девиц и женщин с чолками и локонами, в полосатых пижамных штанах, на каждом офицере амулеты — золотые кубышки, ниточки кораллов, набивные чучелки с желтыми бисерными глазками. У каждого в кармане русско-германский военный разговорник с короткими фразами: «руки вверх», «стой, ни с места», «где оружие?», «сдавайся». Каждый немецкий солдат заучил: «млеко», «клеб», «яйки», «коко», и слово «давай, давай». Они шли с запада. И миллионы людей поднимались навстречу им со светлой Оки и широкой Волги, с суровой желтой Камы и пенящегося Иртыша, из степей Казахстана, из Донбасса и Керчи, из Астрахани и Воронежа. Миллионы верных рабочих рук копали противотанковые рвы, окопы, блиндажи, ямы; шумные рощи и леса ложились молча тысячами своих стволов поперек шоссеиных дорог и тихих проселков, колючая проволока оплетала заводские и фабричные дворы, железо обращалось противотанковыми ежами на площадях и улицах наших милых зеленых городков.

Богарев иногда удивлялся легкости, с какой сумел он внезапно, в течение нескольких часов, отрезать прежнюю свою жизнь; он радовался тому, что сохранял рассудительность в тяжелых положениях, умел

действовать решительно и быстро. И, самое главное, он видел, что и здесь на войне он сохранил себя и свой внутренний мир и люди верят ему, уважают его и чувствуют его внутреннюю силу. Он радовался своей непоколебимой вере и часто говорил себе: «Нет, нет, недаром занимался я марксистской философией. революционная диалектика была для меня доброй строевой подготовкой к этой войне, в которой крахнули старейшие культуры Европы». Однако он не был удовлетворен своей работой, ему казалось, что он недостаточно близко стоит к красноармейцам, к стержню войны, и ему хотелось из политуправления перейти к непосредственной боевой работе.

Часто приходилось ему допрашивать немецких пленных — большей частью это были ефрейторы и унтер-офицеры. Он замечал, что чувство ненависти к фашизму, томившее его днем и ночью, при допросах сменялось презрением и брезгливостью. В большинстве пленные быстро и охотно называли номера частей, вооружение, уверяли, что они рабочие, и все в один голос говорили: «Гитлер капут, капут», хотя было совершенно очевидно, что они говорят не то, что думают. Их письма и письма, приходившие к ним из дому, поражали Богарева своей убогостью. Обычно, обстоятельно описывалось, как готовилась курятина и свинина, сколько было съедено сметаны и меда, сантиментально описывались пейзажи. Из дома шли деловые списки, как накладные мануфактурных мага-

зинов: «Твою посылку с шелком, одеколоном и дамским бельем я получила. Спасибо. В одной из следующих посылок тебе следует прислать теплый свитер для бабушки, несколько мотков шерстяных ниток, детские ботинки»; и т. д. и т. д.

Лишь изредка встречались ему пленные фашисты, прямо заявлявшие о своей преданности Гитлеру, о своей вере в главенство германской расы, призванной поработить народы мира. Богарев подробно расспрашивал их — они ничего не читали, не слышали не только о Гете и Бетховене, но и о таких столпах германской государственности, как Бисмарк, либо о знаменитых среди военных именах Мольтке, Фридриха II, Шлиффена. Они знали лишь фамилию секретаря своей районной организации национал-социалистской партии.

Богарев внимательно изучал приказы германского командования, он отмечал в них необычайное стремление к организации — немцы организованно и методически грабили, выжигали, бомбили, немцы умели организовать сбор пустых консервных банок на военных бивуаках, умели разработать план сложного движения огромной колонны с учетом множества деталей и пунктуально, с математической точностью выполнять эти детали. В их способности механически подчиняться, бездумно маршировать, в сложном и огромном движении скованных дисциплиной миллионных солдатских масс было нечто низменное, несвой-

ственное свободному разуму человека. Это была не культура разума, а цивилизация инстинктов, нечто идущее от организованности муравьев и стадных животных.

За все время Богареву среди германских писем и документов попались два письма — одно от молодой женщины к солдату, другое неотправленное солдатом домой, где он увидел мысль, лишенную автоматизма, чувство, свободное от мещанской низменности, письма, полные стыда и горечи за преступления, творимые германским народом. Однажды ему пришлось допрашивать пожилого офицера, в прошлом преподавателя литературы, и этот человек тоже оказался мыслящим и искренно ненавидящим гитлеризм.

«Гитлер, — сказал он Богареву, — не создатель на-редных ценностей, он — захватчик. Он захватил трудолюбие, промышленную культуру германского народа, как невежественный бандит, угнавший великолепный автомобиль — творение высокой мысли».

«Никогда, никогда, — думал Богарев, — им не победить нашей страны. Чем точней их расчеты в мелочах и деталях, чем арифметичней их движения, тем полней их беспомощность в понимании главного, тем злей ждущая их катастрофа. Они планируют мелочи и детали, но они мыслят в двух измерениях. Они методические ремесленники. Законы исторического движения в начатой ими войне не познаны ими и че

могут быть ими познаны, людьми инстинктов и низшей целесообразности».

Машина его бежала среди прохлады темных лесов, по мостикам над извилистыми речушками, по туманным долинам, мимо тихих прудов, отражавших звездное пламя огромного августовского неба. Шофер негромко сказал:

— Товарищ батальонный комиссар, помните, там бсец из каски пил, что на орудии сидел, и чувство мне такое пришло — наверное, брат мой, теперь я понял, отчего он меня так заинтересовал!

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Дивизионный комиссар Чередниченко перед заседанием Военного Совета прогуливался по парку. Он шел медленно, останавливаясь время от времени, чтобы набить табаком свою короткую трубку. Пройдя мимо старинного дворца с высокой, мрачной башней и остановившимися часами, он спустился к пруду. Над прудом свешивались зеленые, пышные космы ветвей. Утреннее солнце ярко освещало плававших по пруду лебедей. Казалось, что движения лебедей так медленны и шеи их так напряжены от того, что темно-зеленая вода густа, туга, и ее невозможно преодолеть. Чередниченко остановился и, задумавшись, смотрел на белых птиц. Влажный песок скрипел под его

сапогами. Мимо по аллее со стороны узла связи шел немолодой майор с темной бородкой. Чередниченко знал его — он работал в оперативном отделе и докладывал дивизионному комиссару обстановку.

— Разрешите обратиться, товарищ член Военного Совета, — громко сказал майор.

— Давайте, давайте, обращайтесь, — сказал Чередниченко, следя, как лебеди, потревоженные громким голосом майора, отплывали к противоположному берегу пруда.

— Получено донесение: вчера около двадцати трех противник начал движение крупными массами танков и мотопехоты. Пленные показали, что они принадлежат к трем различным дивизиям танковой армии Гудериана и что направление движения им было дано на Унечу — Новоград-Северск.

— Так, — сказал Чередниченко, — я об этом знал ночью.

Майор пытливо поглядел на его морщинистое лицо с большими узкими глазами. Цвет глаз у дивизионного комиссара был гораздо светлее, чем темная кожа лица, изведавшая ветры и морозы русско-германской войны 1914 года, степные походы гражданской войны. Лицо дивизионного комиссара казалось спокойным и задумчивым.

— Разрешите, товарищ член Военного Совета, доложить последнюю оперсводку с данными на четыре ноль ноль..

— Ну, уж и ноль ноль, — сказал Чередниченко, а может быть на три часа пятьдесят семь минут.

— Возможно, товарищ член Военного Совета, — улыбнулся майор. — На остальных участках противник особой активности не проявлял. Лишь западнее переправы он занял деревню Марчихина Буда, понеся при этом потери до полутора батальонов.

— Какая деревня? — спросил Чередниченко и повернулся к майору.

— Марчихина Буда, товарищ член Военного Совета.

— Точно? — строго и громко спросил Чередниченко.

— Совершенно точно.

Майор на мгновенье задержался и сказал виноватым голосом:

— Красивые лебеди, товарищ член Военного Совета. Вчера двух убило во время налета, птенцы остались.

Майор пошел в сторону штаба, мимо стоявшего у старого клена порученца Чередниченки. Дивизионный комиссар долго глядел на лебедей, на яркие пятна света, лежавшие на зеленой поверхности пруда. Потом он сказал тихо:

— Что ж, мама, что ж, Леня, увидимся ли с вами, — и закашлял солдатским, трудным, тяжелым кашлем.

Когда он шел к дворцу, поджидавший его порученец спросил:

— Товарищ дивизионный комиссар, прикажете отправить машину за вашей матерью и сыном?

— Нет, — коротко сказал Чередниченко и, взглядев на удивленное лицо порученца, добавил: — Сегодня ночью Марчихина Буда занята немцем.

Военный Совет заседал в высоком сводчатом зале с портьерами на длинных и узких окнах. В полусумраке красная скатерть с кистями, лежавшая на столе, казалась черной. Минут за пятнадцать до начала дежурный секретарь бесшумно прошел по ковру и шопотом сказал порученцу:

— Мурзихин, яблоки командующему принесли?

Порученец скороговоркой ответил:

— Я велел начахо, — как всегда, и нарзан и «Северную Пальмиру» принесли уже.

Через несколько минут в зал вошел начальник штаба, генерал с недовольным и усталым лицом. Следом за ним шел полковник, начальник оперативного отдела, держа сверток карт. Полковник был высок и краснолиц, генерал, наоборот, полный и бледный, но они почему-то очень походили один на другого. Генерал спросил у вытянувшегося порученца:

— Где командующий?

— На проводе, товарищ генерал-майор.

— Связь есть?

— Минут двадцать, как восстановили.

— Вот видите, Петр Ефимович, — сказал начальник штаба, — а ваш хваленый Стемехель обещал лишь к полудню.

— Что ж, тем лучше, Илья Иванович, — ответил

полковник и с принятой в таких случаях строгостью подчиненного добавил: — когда вы спать ляжете, не спите ведь уже третью ночь.

— Ну, знаете, обстановка такая, что не о сне думать, — сказал начальник штаба и, подойдя к маленькому столу, взял яблоко. Полковник, расстилавший карты на большом столе, тоже потянул руку за яблоком. Порученец, стоявший на вытяжку, улыбаясь, переглянулся с секретарем.

— Да вот оно, это самое, — сказал начальник штаба, наклоняясь над картой и разглядывая толстую синюю стрелу, обозначающую направление движения германской танковой колонны в глубину красного полукружия нашей обороны. Он надкусил яблоко и сказал:

— Чорт, что за возмутительная кислятина.

Полковник тоже надкусил яблоко и поспешно прогворил:

— Да, доложу я вам, чистый уксус.

Он сердито спросил у порученца:

— Неужели для Военного Совета нельзя лучших яблок достать?

Начальник штаба рассмеялся:

— О вкусах не спорят, Петр Ефимович. Это специальный заказ командующего, он любитель кислых яблок.

Они наклонились над столом и негромко загово-

рили между собой. Выходя, порученец слышал, как полковник говорил:

— Угроза ведь главной коммуникационной линии, явно расшифровывается цель движения, вы только посмотрите, ведь это охват левого фланга.

— Ну, уж и охват, — сказал генерал, — скажем: потенциальная угроза обхвата.

Они положили надкусанные яблоки на стол и одновременно распрямились: в зал вошел командующий фронтом Еремин — высокий, сухощавый, с седеющей, коротко стриженной головой. Он вошел, громко стуча сапогами, шагая не по ковру, как все, а по скрипящему начищенному паркету.

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, — сказал он и, оглядев начальника штаба, спросил:

— Что это у вас такой вид утомленный, Илья Иванович?

Начальник штаба, обычно называвший командующего по имени и отчеству, — Виктором Андреевичем, сейчас, перед важным заседанием Военного Совета, громко ответил:

— Чувствую себя превосходно, товарищ генерал-лейтенант, — и спросил: — Разрешите доложить обстановку?

— Что ж, вот и дивизионный идет, — сказал командующий.

В зал вошел Чередниченко. Он молча кивнул и сел на крайний стул в углу стола.

Обстановка, которую докладывал начальник штаба, была тяжелой. Дело относилось к тому периоду войны, когда пробивные клинья немецко-фашистской армии били во фланги наших частей, угрожая им окружением. Части наши отходили к новым рубежам. На каждой речной переправе, на каждом холмистом рубеже шли долгие кровавые бои. Но враг наступал, а мы отступали. Враг занимал города и обширные земли.

И докладчик, начальник штаба, и его помощник — полковник, и секретарь, и командующий, и дивизионный комиссар — все видели тяжелую синюю стрелу, направленную в тело советской страны. Полковнику она казалась страшной, стремительной, не ведающей усталости в своем движении по разлинованной бумаге. Командующий знал больше других о резервных дивизиях и полках, о находящихся в глубоком тылу соединениях, идущих с востока на запад, он прекрасно чувствовал рубежи боев, он физически ощущал складки местности, шаткость понтонов, наведенных немцами, глубину быстрых речушек, зыбкость болот, где он встретит германские танки. Для него война происходила не только на квадратах карты. Он воевал на русской земле, на земле с дремучими лесами, с утренними туманами, с неверным светом в сумерках, с густой невыбранной коноплей, с высокими хлебами, скирдами, овинами, с дереvушками на обрывистых берегах рек, с оврагами, заросшими кустарником. Он

чувствовал протяженность сельских большаков и извилистых проселков, он ощущал пыль, ветры, дожди, взорванные полустанки, разрушенные пути на разъездах. И синяя стрела не пугала и не волновала его. Он был хладнокровный генерал, любивший и знавший свою землю, умевший и любивший воевать. Ему хотелось одного — наступления. Но он отступал, и это мучило его.

Его начальник штаба, профессор академии, обладал всеми достоинствами ученого, военного знатока тактических приемов, стратегических решений. Начальник штаба был богат опытом военно-исторической науки и любил находить черты сходства и различия в тех операциях, которые проводили армии фронта, с сражениями XX и XIX веков. Он обладал умом живым, несклонным к догме. Он трезво расценивал маневр, подвижность фашистской пехоты и умение взаимодействовать авиации с наземными войсками. Как-то ночью ему снилось, что он экзаменовал в своем штабном кабинете знаменитого Гамелена и топал на него ногами за непонимание особенности маневренной войны. Его удручало отступление наших армий, синяя стрела, казалось ему, была направлена в его собственное сердце русского военного.

Начальник оперативного отдела штаба, исполнительный полковник, мыслил категориями военной топографии. Для него единственной реальностью являлись квадраты двухкилометровки, и он всегда точно пом-

нил, сколько листов карты было сменено на его столах, какие дефиле прочерчены синим и красным карандашом. Война, казалось ему, шла на картах, ее вели штабы. Синие стрелы движения германских моторизованных колонн, казалось ему, двигались по математическим законам. В этом движении он не видел никаких закономерностей, кроме геометрических.

Самым спокойным человеком был молчаливый дивизионный комиссар Чередниченко. «Солдатский Кутузов», — прозвали его. В самые раскаленные часы боев вокруг этого неторопливого, медленного человека с задумчивым, немного грустным лицом создавалась атмосфера необычайного спокойствия. Его насмешливые лаконичные реплики, его острые, крепкие слова часто повторялись и вспоминались. Все хорошо знали его широкоплечую коренастую фигуру, он иногда сидел на скамейке в парке и, немного нахмутив лоб, думал, и всякому командиру и бойцу становилось весело и хорошо на душе, когда видели они этого скуластого человека, с прищуренными глазами и нахмуренным лбом, с короткой трубкой во рту.

Во время доклада начальника штаба Чередниченко сидел, опустив голову, и нельзя было понять, слушает он внимательно или задумался.

После доклада командующий начал задавать вопросы генералу и полковнику и поглядывал на дивизионного комиссара, ожидая, когда он примет участие в обсуждении. Полковник каждый раз вынимал из

кармана гимнастерки вечную ручку, пробовал перо на ладони, затем снова прятал ручку, а через мгновение вновь вынимал ее, пробовал острее на ладони. Чередниченко наблюдал за ним. Командующий прохаживался по залу, и паркет скрипел под его тяжелыми шагами. Лицо Еремина хмурилось: движение немецких танков шло в обход левого фланга одной из его армий.

— Слушай, Виктор Андреевич, — неожиданно сказал дивизионный комиссар, — ты привык с детства к зеленым яблокам, что из соседних садов таскал, так до сих пор этой привычки держишься, а люди, видишь, из-за тебя страдают. — И он показал на стол. Все поглядели на лежащие рядом надкусанные яблоки и рассмеялись.

— Надо не только зеленые ставить, действительно конфуз, — сказал Еремин.

— Есть, товарищ генерал-лейтенант, — улыбаясь, произнес секретарь.

— Что же тут, — произнес Чередниченко и, подойдя к карте, спросил начальника штаба: — Вы на этом рубеже предлагаете закрепиться?

— На этом, товарищ дивизионный комиссар. Виктор Андреевич полагает, здесь мы сумеем очень активно и с наибольшим эффектом применить средства нашей обороны.

— Это-то верно, — сказал командующий. — тут начальник штаба предлагает для лучшего проведения

маневра произвести контратаку в районе Марчихиной Буды, вернуть это село. Как ты думаешь, дивизионный?

— Вернуть Марчихину Буду? — переспросил Чередниченко, и в голосе его было нечто, заставившее всех поглядеть на него. Он раскурил трубку, выпустил клуб дыма, махнул по этому дыму рукой и долго молча глядел на карту.

— Нет, я против, — проговорил он и, водя мундштуком трубки по карте, стал объяснять, почему он считает эту операцию нецелесообразной.

Командующий продиктовал приказ об усилении войск левого фланга и перегруппировке армейской группы Самарина. Он приказывал двинуть навстречу германским танкам одну из имевшихся в его резерве мотострелковых частей.

— Ох, и хорошего комиссара им дам, — сказал Чередниченко, подписывая вслед за командующим приказ.

В это время гулко прокатился разрыв авиабомбы, тотчас за ним второй. Послышалась размеренная пальба малокалиберных зениток. Никто из находившихся в зале не повернул головы в сторону окон. Только начальник штаба сердито сказал полковнику:

— А эдак минуты через две городское пеево даст сигнал воздушной тревоги.

Чередниченко сказал секретарю:

— Товарищ Орловский, вызовите мне Богарева.

— Он здесь, товарищ член Военного Совета.

— Хорошо, — сказал Чередниченко и, выходя из зала, спросил Еремина: — Значит, условились насчет яблок?

— Да, да, дивизионный, договорились, — сказал командующий. — Яблоки всех сортов.

— То-то, — сказал Чередниченко и пошел к двери, сопровождаемый улыбающимися генералом и полковником. В дверях он сказал полковнику: — Вы, полковник, зря ручку вечную вертели, для чего это вертеть ручку? Разве можно хоть секунду колебаться? Нельзя, нельзя. Победим немца.

Секретарю Военного Совета Орловскому, считавшему себя знатоком человеческих отношений, всегда казалось непонятым чувство дивизионного комиссара к Богареву. Дивизионный, старый военный, больше двадцати лет служивший в русских войсках, всегда относился с некоторым скептицизмом к командирам и комиссарам, призванным из запаса. Богарев составлял исключение, непонятное секретарю.

И теперь, выйдя из зала заседания, дивизионный комиссар не улыбнулся, как обычно, увидя поднимающегося и вытянувшегося Богарева, а подошел к нему с суровым выражением и произнес голосом, какого никогда не слышал у него секретарь на самых торжественных смотрах:

Товарищ Богарев, вы назначены военным комис-

саром стрелковой части, которой командование ставит важную задачу.

Богарев сказал:

— Благодарю за доверие.

ГОРОД В СУМЕРКАХ

Семен Игнатьев, боец первой стрелковой роты, высокий, могучего телосложения парень, до войны жил в колхозе Тульской области. Повестку из военкомата принесли ему ночью, когда он спал на сеновале. Это было как раз в тот ночной час, когда Богареву сообщили по телефону, что назавтра ему нужно явиться в Главное политическое управление Красной Армии. Игнатьев любил вспоминать с товарищами: «Ох, проводили меня важно! Три брата из Тулы, что на пуллетном заводе, ночью пришли с женами, пришел главный механик с эмтееса, вина выпили крепко, песни пели». Теперь эти проводы казались ему веселыми и торжественными, но во время прощания нелегко было смотреть Игнатьеву на плачущую мать, на храбрившегося старика-отца. «Смотри, Сенька. — говорил старик, — вот два серебряных Георгия, а два золотых еще было, я их на военный заем отдал, смотри на отца-сапера, полк немецкий с мостом поднял». И хоть старик храбрился, но, видно, ему хотелось плакать вместе с бабами — Семен был любимым из его пяти сыновей, самым веселым и ласковым.

Одно время он вместе со старшими братьями работал на знаменитом Тульском заводе, но вскоре уволился и вернулся в деревню. «Не могу я без вольного воздуха», — говорил он. Часто бродил он по окрестным полям, ходил в большой лес, на реку. Брал Игнатьев с собой удочку или плохонькое охотничье ружьецо, но делал это больше для вида, чтобы над ним не смеялись. Ходил он обычно быстро, постоит, послушает птиц, тряхнет головой, вздохнет и пойдет дальше. Либо взберется на высокий, заросший орешником холм над рекой и поет песни. И глаза у него бывали веселые, как у пьяного. Его бы посчитали в деревне чудачком и неминуемо стали бы смеяться над этими прогулками с ружьем, но уж очень уважали его за силу, за великолепное умение работать. Очень хорошо мог он подстроить человеку злую, но веселую штуку, мог много выпить и не захмелеть, рассказать интересный случай либо сказку с издевочкой, никогда не жалел табаку для собеседника. В роте он сразу пришелся всем по душе, и хмурым Мордвинов, старшина, говорил ему не то с восхищением, не то с укоризной: «Эх, ты, Игнатьев, русская твоя душа».

Особенно подружился он с двумя товарищами — московским слесарем Седовым и рязанским колхозником Родимцевым — коренастым темнолицым бойцом 1905 года рождения. Родимцев дома оставил жену с четырьмя детьми. В последнее время их часть стоя-

ла в резерве в предместье города. Некоторые бойцы размещались в пустых домах. Таких домов имелось много в городе, так как из 140 тысяч населения больше 100 тысяч уехали в глубь страны. Выехали из города и заводы — сельскохозяйственных машин и вагоноремонтный, выехала большая спичечная фабрика. Печально выглядели тихие заводские корпуса, недымящие трубы, пустые улицы рабочего поселка, голубые киоски, где недавно торговали мороженым. В одном из таких киосков иногда прятался от дождей боец-регулировщик с пучком цветных флажков. В окнах заколоченных домов, оставленных жильцами, стояли увядшие комнатные цветы — фикусы с опавшими тяжелыми листьями, порывевшие гортензии и флоксы. Под милыми деревьями, росшими вдоль улиц, маскировались фронтные грузовые машины, через пустые детские площадки с кучами нежно желтого песка ехали броневики, расписанные зеленой и желтой краской, они сигналили резкими, сверлящими голосами хищных птиц. Окраины сильно пострадали от бомбардировок с воздуха. Все подъезжавшие к городу рассматривали сгоревшее складское здание с огромной надписью, закоптившейся от дыма: «огнеопасно».

В городе продолжали работать столовые, маленький завод фруктовых вод, парикмахерские. Иногда после дождя ярко блестела роса на листьях, весело поблескивали лужи, воздух делался нежным и чистым; людям на несколько мгновений казалось, что нет

страшного горя, постигшего страну, что враг не стоит в пятидесяти километрах от обжитого их жилья. Девушки переглядывались с красноармейцами, старики, покрхтывая, сидели на скамейках в садиках, дети играли песком, приготовленным для тушения зажигательных бомб.

Игнатьеву нравился этот зеленый, полупустой город. Он не чувствовал страшной печали, в которой жили оставшиеся в городе люди. Он не замечал заплаканных старых глаз, с тревогой глядевших в лицо каждому встречному военному. Он не слышал, как тихо плакали старухи, не знал, что по ночам сотни стариков не спят, стоят у окон, всматриваются слезящимися глазами в темноту. Их белые губы шептали молитвы, они подходили к тревожно спавшим, плачущим и вскрикивающим во сне дочерям, к стонущим и мечущимся внучатам и снова шли к окнам, стараясь угадать, куда движутся во мраке машины.

В десять часов бойцов подняли по тревоге. В темноте шоферы заводили машины, моторы негромко рокотали. Жители вышли во дворы и молча смотрели на сборы красноармейцев. Похожая на худую девочку, старуха-еврейка, с головой и плечами, покрытыми тяжелым, теплым платком, спрашивала у бойцов:

— Товарищи, скажите, уходить нам или оставаться?

— Куда ты пойдешь, мать? — спросил ее веселый Жавелев. — Тебе лет девяносто. ты пешком далеко не уйдешь.

Старуха скорбно кивала головой, соглашаясь с Жавелевым. Она стояла возле грузовика, освещенная синим светом автомобильной фары. Краем своего платка старуха бережно, словно касаясь пасхальной посуды, протерла крыло машины, очищая его от налипшей грязи. Игнатъев заметил это движение старухи, и неожиданная жалость коснулась его молодого сердца. И старуха, словно ощутив сочувствие Игнатъева, заплакала:

— Что же делать, что же делать, вы уходите, товарищ, да, скажите мне?

Гуденье машин с заведенными моторами заглушало ее слабый голос, и она, никем не слышимая, тихо говорила: «Муж лежит в параличе, три сына в армии, последний вчера ушел в ополчение; невестки уехали с заводом. Что делать, товарищи?»

Лейтенант, выйдя во двор, подозвал к себе Игнатъева и сказал:

— Игнатъев, останется три человека до утра для сопровождения комиссара. Вы в том числе.

— Есть, остаться для сопровождения комиссара,— весело ответил Игнатъев.

Игнатъеву хотелось эту ночь провести в городе. Ему очень нравилась молодая беженка Вера, работавшая уборщицей в редакции местной газеты. После 11 она возвращалась с дежурства, и Игнатъев обычно ожидал ее в это время во дворе. Девушка была высока ростом, черноглазая, полногрудая. Сидеть с ней на скамеечке очень нравилось Игнатъеву. Он садился рядом

с ней, она вздыхала и рассказывала мягким украинским голосом о том, как жилось ей в Проскурове до войны, как она ночью пешком ушла от немцев, захватив лишь одно платье и мешочек сухариков, оставив дома стариков и маленького брата, как жестоко бомбили мост через Сожь, когда она шла в колонне беженцев. Все разговоры ее были о войне, об убитых на дорогах, о детских смертях, о пожарах в деревнях. В ее черных глазах все время стояло выражение тоски. Когда Игнатъев обнимал ее, она отводила его руки и спрашивала: «Зачем это, пойдешь ты завтра в одну сторону, а я в другую, и ты меня не вспомнишь и я тебя забуду». — «Ну и что ж, — говорил он. а может не забуду». — «Нет забудешь: если б раньше ты меня встретил, вот ты бы послушал, как я песни спевала, а теперь не то у меня на сердце». И она все отводила его руку. Но все же Игнатъеву очень нравилось сидеть с ней, и он все надеялся, что она одумается и не откажет ему в любви. Когда Вера рассказывала, он слушал невнимательно и все поглядывал на ее темные брови и глаза и вдыхал запах, шедший от ее кожи.

Машины одна за другой выезжали на улицу и двигались в сторону Черниговского шоссе. Долго шли машины мимо скамеечки, на которой сидел Игнатъев. И стало вдруг тихо, темно, неподвижно, только в окнах белели седые бороды стариков и белые старушечьи волосы.

Небо было звездным и совершенно мирным, лишь изредка сверкала падающая звезда, и военным людям казалось, что звезда эта сбита боевым самолетом. Игнатьев дождался Веры и уговорил ее посидеть рядом с ним на скамейке.

— Устала я очень, боец, — сказала она.

— Да хоть немного посиди, — уговаривал он ее. — Я ведь завтра уеду.

И она присела возле него. Он в темноте всматривался в ее лицо, и она казалась ему такой красивой и желанной, что Игнатьев жалобно вздыхал. Она и в самом деле была очень красива.

* * *

Богарев сидел, задумавшись, за столом. Встреча с командиром полка Героем Советского Союза Мерцаловым произвела на него неприятное впечатление. Командир отнесся к нему вежливо, предупредительно, но Богареву не понравился его самоуверенный тон.

Богарев прошелся по комнате и постучал в дверь хозяину квартиры.

— Вы еще не спите? — спросил он.

— Нет, нет, пожалуйста, — ответил торопливый старческий голос.

Хозяином квартиры был старый юрист-пенсионер Богарев раза два или три беседовал с ним. Старик жил в большой комнате, заставленной книжными полками, заваленной старыми журналами.

— Я к вам проститься. Алексей Алексеевич, — сказал Богарев, — завтра утром уеду.

— Вот оно как, — проговорил старик, — я сожалею. В это грозное время судьба мне подарила собеседника, о котором я мечтал долгие годы. Сколько бы ни осталось мне жить, я буду с благодарностью вспоминать наши вечерние беседы.

— Спасибо, — сказал Богарев, — от меня вам презент — пачка китайского чаю, вы любитель этого напитка.

Он пожал руку Алексею Алексеевичу и пошел к себе. За короткое время войны он успел прочесть десяток книг по военным вопросам — много специальных сочинений, обобщающих опыт великих войн прошлого. Как-то ночью он прочел журнальную статью при свете пожара. Потребность читать настолько органически и естественно была присуща ему, что глаза у него не портились от чтения, он обладал острым, хрощим зрением и никогда не пользовался очками.

Но в эту ночь Богарев не стал читать. Ему хотелось написать письма жене, матери, друзьям. Завтра для него начинался новый этап жизни, и он сомневался, удастся ли ему в ближайшее время поддерживать переписку с близкими.

«Дорогая моя, милая моя, — начал писать он, — наконец я получил то назначение, о котором мечтал, помнишь, я говорил перед отъездом...»

Он задумался, глядя на написанные строки. Жену.

конечно, огорчил это назначение, о котором он мечтал. Она не будет спать по ночам. Нужно ли писать ей об этом?

Дверь приоткрылась, на пороге стоял старшина — Разрешите обратиться, товарищ батальонный комиссар? — спросил он.

— Да, пожалуйста, в чем дело?

— Значит, осталась полуторка, товарищ комиссар, трое бойцов. Какое ваше приказание?

— Мы поедем в восемь часов утра. Легковая машина стала на ремонт, я поеду полуторкой. К вечеру мы полк нагоним. Теперь так. Никого из людей не отпускать со двора, спать всем вместе. Машину лично проверьте.

— Есть, товарищ батальонный комиссар.

Старшина, видимо, хотел еще сказать что-то.

Богарев вопросительно посмотрел на него.

— Так что, товарищ батальонный комиссар, прожектора по всему небу шуруют, должно, сейчас тревогу дадут.

Старшина вышел во двор и позвал негромко:

— Игнатьев!

— Здесь, — недовольным голосом отозвался Игнатьев и подошел к старшине.

— Чтоб не смел со двора отлучаться.

— Да я безотлучно здесь, — сказал Игнатьев.

— Я не знаю, где ты есть безотлучно, а это тебе приказание комиссара не отлучаться со двора

— Есть, товарищ старшина, не отлучаться со двора.

— Теперь, как машина?

— Известно, в порядке.

Старшина поглядел на прекрасное небо, на темные затаившиеся дома и, зевая, сказал:

— Слышь, Игнатьев, если будет чего, ты меня побуди.

— Есть побудить, если чего будет, — сказал Игнатьев и сам подумал: «Вот привязался старшина, хоть бы спать скорее шел, носит его».

Он вернулся обратно к Вере и, быстро обняв ее, шепнул сердито и горячо ей в ухо:

— Ты скажи, для кого ты себя бережешь?

— Ох, какой ты, — ответила она, и он почувствовал, что она не отводит его руку, а сама обнимает его.

— Какой ты, не понимаешь ничего, — шопотом сказала она, — я боюсь тебя любить, другого забудешь, а тебя не забудешь. Что же, я думаю, это мне и по тебе еще плакать, нехватит мне слез. Я и так не знала, что столько слез в моем сердце.

Он не знал, что ответить ей, да ей и не нужно было его ответа, и он стал целовать ее.

Далекий прерывистый звук паровозного гудка, за ним другой, третий пронесся в воздухе.

— Тревога, — жалобно сказала она, — тревога, опять тревога, что же это?

И сразу же вдали послышались частые залпы зениток. Лучи прожекторов осторожно, словно боясь

разорвать свое тонкое голубоватое тело о звезды, поползли среди неба, и белые яркие разрывы зенитных снарядов засверкали среди звезд.

ГИБЕЛЬ ГОРОДА

Налет немецкой авиации начался около двенадцати часов ночи. Первые самолеты-разведчики шли на большой высоте, сбросили осветительные ракеты и несколько кассет зажигательных бомб. Звезды стали исчезать и меркнуть, когда белые шары ракет, подвешенные к парашютам, разгораясь, повисли в воздухе. Мертвый свет спокойно, подробно и внимательно освещал площади города, улицы и переулки. В этом свете встал весь спящий город — белая фигура гипсового мальчика с горном, поднесенным к губам, заблестели витрины книжных магазинов и розовые, синие огоньки зажглись в стеклянных бутылках, стоявших на аптечных полках. Темная листва высоких кленов в парке вдруг выступила из тьмы каждым резным своим листом, и возбужденно закричали глупые молодые грачи, поражаясь внезапному приходу дня. Осветились окна с занавесками и цветочными вазонами, колоннада городской больницы, веселая вывеска над рестораном народного питания, сотни садиков, скамеечек, окошек, тысячи маленьких покатых крыш, робко заблестели круглые оконца на чердаках, жел-

тые янтарные пятна поползли по начищенному паркету в читальном зале городской библиотеки.

Спящий город стоял в белом свете осветительных ракет, город, в котором жили десятки тысяч стариков, старух, детей, женщин, город, росший девять веков, город, в котором триста лет тому назад построили ученую семинарию и белый костел, город, в котором учились поколения веселых студентов; через этот город шли когда-то длинные обозы чумаков, бородатые плотовщики медленно проплывали мимо его белых домов и крестились, глядя на куполы собора; славный город, заставивший расступиться густые, сырые леса; город, где из столетия в столетие трудились знаменитые медники, краснодеревщики, кожевники, пирожники, портные, маляры, каменщики. Этот красивый старинный город на берегу реки был освещен темной августовской ночью химическим светом ракет.

Сорок двухмоторных бомбардировщиков еще днем были подготовлены к налету. Немецкие техники с аптекарской точностью наполняли баки прозрачной легкой жидкостью. Черно-оливковые футасные бомбы и серебристые зажигательные в пропорции, установленной для бомбежки городов военными учеными, были подвешены в люках самолетов. Oberst знакомился с точным планом полета, подготовленным штабом, метеорологи сообщили достоверные сводки погоды. Летчики жевали шоколад, покуривали сигареты,

писали домой шуточные короткие открытки — все это были холёные мальчики с модной стрижкой.

С ноющим звуком шли самолеты. Их встретил колющий огонь зениток, лучи прожекторов ловили их, и вскоре один из самолетов загорелся; словно испорченная картонная игрушка, кувыркаясь, пошел он к земле, то заворачиваясь в тряпицу черного пламени, то выпадая из нее. Но немецкие летчики уже увидели спящий город, освещенный ракетами.

Один за другим прокатились над городом взрывы, земля дрогнула, с звоном полетели стекла, посыпалась штукатурка в домах, сами собой стали открываться окна и двери. Полуодетые женщины, держа на руках детей, бежали к щелям.

Игнатъев, схватив за руку Веру, побежал с девушкой к окопу, вырытому у забора. Там уже собрались немногочисленные, оставшиеся в доме жильцы: медленно вышел во двор старичок-юрист, у которого жил на квартире комиссар. Старичок нес в руке пачку книг, перевязанную бечевкой. Игнатъев помог ему и Вере спуститься в окоп, а сам побежал к дому. В это время послышался вой летящей бомбы. Игнатъев лег на землю. Весь двор заполнился мглой, — то поднялась в воздух тонкая кирпичная пыль от рухнувшего по соседству здания. Женщина крикнула: «Газы!». «Какие газы, — сердито сказал Игнатъев, — пыль это, сиди в щели».

Он побежал к дому. Старшина и бойцы уже про-

снулись, натягивали сапоги. Зарево начинавшегося пожара освещало их. Котелки белого металла поблескивали в свете молодого, еще бездымного пламени. Игнатьев поглядел на быстро, молча одевшихся товарищей, потом на котелки и спросил:

— Ужин на меня получали?

— Во, брат ты мой, — сказал Седов, — ты там будешь с бабами на скамейке звезды считать, а мы на тебя ужин получай.

— Скорей, скорей собирайся, — проговорил старшина. — А ты, Игнатьев, беги к комиссару, побудить его надо.

Игнатьев поднялся на второй этаж. Старый дсм весь скрипел от гула бомбовых разрывов, — поскрипывая ходили двери, тревожно позванивала посуда в шкафах, и казалось, весь старый, обжитой дом дрожит, как живое существо, видя страшную скорую гибель подобных себе. Комиссар стоял у окна. Он не слышал, как вошел Игнатьев. Новый разрыв потряс землю, глухо и тяжело села штукатурка, наполнив комнату сухой пылью. Игнатьев чихнул. Комиссар, не слыша, стоял у окна, глядя на город. «Вот он какой комиссар», — подумал Игнатьев, и невольное чувство восхищения коснулось его. В этой высокой, неподвижной фигуре, обращенной к начинавшим гореть пожарам, было что-то сильное, привлекавшее.

Богарев медленно повернулся. Выражение тяжелой упорной думы лежало на всем облике его, худые

щеки, темные глаза, сжатые губы, — все напряглось в одном большом движении. «Словно икона, строгий», — подумал Игнатъев, глядя на лицо комиссара.

— Товарищ комиссар, — сказал он, — надо бы вам уйти отсюда, ведь он совсем рядом кидает, ударит — ничего от дома не останется.

— Как фамилия ваша? — спросил Богарев.

— Игнатъев, товарищ комиссар.

— Товарищ Игнатъев, передайте старшине мое приказание: помочь гражданскому населению, слышите, кричат женщины.

— Поможем, товарищ комиссар. Насчет тушения, то мало чего сделаешь, дома больше деревянные, сухие, и он их зажигает сотнями сразу, а тушить то некому — молодой мирный житель эвакуировался, либо в ополчение ушел. Старики и ребята остались.

— Запоминайте, товарищ Игнатъев, — вдруг сказал комиссар. — И эту ночь, и этот город, и этих стариков и детей.

— Разве забудешь, товарищ комиссар!

Игнатъев смотрел на мрачное лицо комиссара и повторял: «Правильно, товарищ комиссар, правильно». Потом он спросил:

— Может, разрешите гитару эту взять, что на стенке висит, все равно дом горит, а бойцам очень нравится, как я на гитаре играю.

— Дом ведь не горит, — строго сказал Богарев.

Игнатъев поглядел на большую гитару, вздохнул

и пошел к двери. Богарев начал укладывать бумаги в полевую сумку, надел плащ, фуражку и снова пошел к окну.

Город горел. Курчавый, весь в искрах, красный дым поднимался высоко вверх, темно-кирпичное зарево колыhalось над базаром. Тысячи огней — белых, оранжевых, желтых, клюквенно-красных, голубоватых — огромной мохнатой шапкой поднимались над городом, листва деревьев съеживалась и блекла. Голуби, грачи, вороны носились в горячем воздухе, горели и их дома. Железные крыши, нагретые страшным жаром, светились, кровельное железо от жара громыhalо и гулко постреливало, дым вырывался из окон, заставленных цветами, — он был то молочно-белым, то смертно-черным, розовым и пепельно-серым, он курчавился, клубился, поднимался тонкими золотистыми струями, рыжими прядями, либо сразу вырывался огромным стремительным облаком, словно внезапно выпущенный из чьей-то огромной груди; пеленой прикрывал он город, растекался над рекой и долинами, клочьями цеплялся за деревья в лесу.

Богарев спустился вниз. В этом большом огне, дыму, среди разрывов бомб, криков, детского плача находились люди спокойные и мужественные — они тушили пожары, засыпали песком зажигательные бомбы, спасали из огня стариков. Красноармейцы, пожарники, милиционеры, рабочие и ремесленники в дымящейся одежде, с лицами суровыми, черными от ко-

поти всеми силами боролись за свой город, делали все, что могли, чтобы спасти, выручить то, что можно было еще спасти и выручить. Богарез сразу почувствовал присутствие этих людей, они появлялись из дыма и огня, связанные великим братством, вместе шли на подвиги, врывались в горящие дома и вновь исчезали в дыму и огне, не называя своих имен, не зная имен тех, кого спасали.

Богарев увидел, как зажигательная бомба упала на крышу двухэтажного дома, искрясь, словно детский фейерверк, начала растекаться ослепительно белым пятном. Он вбежал по лестнице, пробрался на чердак, в духоте, которая пахла дымной глиной и напоминала детство, подошел к мутно светившемуся слуховому окну. Горячее кровельное железо обжигало руки. Искры садились на одежду, но он быстро пробрался к тому месту, где лежала бомба, и сильным ударом сапога сбросил ее вниз. Она упала на клумбу, осветив на миг пышные головы георгинов и астр, зарылась в рыхлую землю и стала гаснуть. Богарев с крыши увидел, как из соседнего горящего дома два человека в красноармейской форме вынесли кровать с лежавшим на ней стариком. Он узнал бойца Игнатьева, просившего у него гитару. Второй, Родимцев, был пониже ростом и пошире в плечах. Старуха, еврейка, быстро заговорила, видимо, благодарила за спасение мужа. Игнатьев махнул рукой — в этом жесте, широком, щедром, свободном, словно выразилась

вся богатая и добрая натура народа. В это время сильнее застучали зенитки, к их выстрелам присоединилось рокотанье пулеметов. Новая волна фашистских бомбардировщиков налетела на горящий город. Снова послышался сверлящий вой бомб, отделившихся от самолетов.

— По щелям! — закричал кто-то. Но люди, разоглаженные борьбой, уже не ощущали опасности.

Чувство времени, протяженности и последовательности событий словно оставило Богарева. Он вместе со всеми тушил начинавшиеся пожары, засыпал песком зажигательные бомбы, выносил из огня чьи-то вещи, помогал санитарам, приехавшим с автомобилем скорой помощи, укладывать на носилки раненых, ходил вместе со своими бойцами к загоревшемуся родительному дому, выносил книги из горевшей городской библиотеки. Отдельные картины навечно запомнились ему: человек выбежал из дома с криком: «Пожар, пожар!» Этот человек, увидев вокруг себя один сплошной огромный огонь, сразу успокоился, сел на тротуар и сидел неподвижно; запомнилось ему, как в чаду и гари вдруг распространился нежный запах духов, это загорелся парфюмерный магазин. Запомнилась ему сошедшая с ума молодая женщина, она стояла посреди пустынной площади, освещенная пожаром, и держала на руках труп девочки. Раненая лошадь лежала на углу улицы. Богарев увидел в ее стеклянневших, но все еще живших глазах отражение пылав-

шего города. Темный, плачущий, полный муки зрак лошади, словно кристальное, живое зеркало, вобрал в себя пламя горящих домов, дым, клубящийся в воздухе, светящиеся раскаленные развалины и этот лес тонких, высоких печных труб, который рос, рос на месте исчезающих в пламени домов.

И внезапно Богарев подумал, что и он вобрал в себя всю ночную гибель мирного старинного города «Пока я живу, пока я дышу, пока мои пальцы имеют силу шевелиться, пока я в силах буду произнести хоть одно слово...» — сказал он себе, и медленная, суровая мысль, словно торжественная клятва, проходила в его воспаленном мозгу. «Пусть не будет для меня иного дела, как дело бойца, пусть все силы души и ума своего я положу, чтобы пробуждать ненависть и месть!»

С рассветом пожары стали меркнуть. Солнце смотрело на дымящиеся развалины, на стариков и старух, сидевших на узлах среди кухонной посуды, цветочных вазонов, сорванных со стен старых портретов в черных рамах. И это солнце, глядевшее сквозь холодеющий дым пожаров, было мертвенно белым, отравленным дымом и гарью. Богарев пошел в штаб за инструкциями и вернулся на квартиру. Во дворе к нему подошел старшина.

— Как машина? — спросил Богарев.

— В порядке, — ответил старшина. Глаза его были воспалены от дыма.

— Надо ехать, собирайте людей.

— Тут, товарищ комиссар, случай произошел, — сказал старшина, — уж под утро немец положил бомбу аккурат у окопчика, где жители хоронились, и всех почти покалечил, а двоих убило: это старичка, у которого вы на квартире стояли, и девушку тут одну, беженку. — Он усмехнулся: — Игнатьев с ней все беседы проводил.

— Где же они? — спросил Богарев.

— Раненых, тех увезли, а убитые так и лежат, вот за ними подвода пришла.

Богарев пошел в глубь двора, где собрались люди, смотревшие покойников. Старика трудно было узнать. Возле него валялись порванные, забрызганные кровью книги. Видимо, в момент разрыва бомбы он приподнялся, выглядывая из неглубокой щели. «Летописи. Тацит», — прочел Богарев название книги, лежавшей рядом с телом. А девушка-беженка казалась живой, спящей. Смуглая кожа ее скрывала бледность, черные ресницы прикрывали глаза, она улыбалась лукаво и смущенно, словно стыдясь, что люди обступили ее.

Подошедший возчик взял девушку за ноги и сказал:

— Эй, кто-нибудь помогите, что ли!

— Пусти, — вдруг крикнул Игнатьев.

Он легко и бережно приподнял тело, перенес его на подводу. Девочка, державшая в руке завядшую ветру, положила цветок на грудь убитой. Богарев по-

мог возчику поднять тело старика. А люди с красными, воспаленными глазами стояли молча, опустив головы.

Пожилая женщина, глядя на покойницу, произнесла тихо: «Счастливая».

Богарев оглядел красноармейцев, рабочих, женщин и сказал:

— Гражданка. Время пришло грозное. Все должны ненавидеть. Иначе мы не победим.

Он пошел к дому, а стоявшие у подводы люди молчали, и только чей-то сиплый голос печально сказал:

— Минск сдали, Бобруйск, Житомир, Шепетовку, разве его остановишь? Видишь, что он делает. За одну ночь город какой сжег и полетел себе.

— Зачем полетел, шестерых наши сбили, — сказал красноармеец

Вскоре Богарев вышел из квартиры убитого юриста. Он оглядел в последний раз полуразрушенную комнату, пол, засыпанный стеклом, выброшенные силой взрыва из шкафов книги, сдвинутую мебель. Подумав, он снял со стены гитару и снес ее вниз, положил в кузов машины.

Родимцев, протягивая стоявшему у машины Игнатьеву котелок, говорил:

— Поешь, Игнатьев, тут макарон белый, мясо вчера я на тебя получил.

— Не хочу есть, — сказал Игнатьев, — пить хочу, все запеклось внутри.

* * *

Вскоре они выехали за город. Летнее утро встретило их всей торжественной спокойной прелестью своей. Днем они остановились в лесу. Тутой, чистый ручей, грациозно морщась на камнях, бежал меж деревьев. Прохлада касалась воспаленной кожи, глаза отдыхали в спокойной тени высоких дубов. Богарев увидел в траве семейство белых грибов, они стояли сероголовые, на толстых белых ножках, и ему вспомнилось, с какой страстью он и жена в прошлом году предавались собиранию грибов на даче. Сколько бы радости было, найди они тогда такое скопище белых грибов. Им-то не очень везло на этот счет — большей частью приносили они домой сыроежки и козляты.

Красноармейцы помылись в ручье.

— Пятнадцать минут на обед, — сказал Богарев старшине.

Он медленно ходил меж деревьев, радуясь и печалась беспечной красоте мира, шелесту листьев. Внезапно он остановился, прислушался, оглянулся в сторону машины. Игнатьев играл на гитаре, остальные ели хлеб с консервами и слушали.

В ШТАБЕ ПОЛКА

В штабе собрался командный состав. Командир полка, Герой Советского Союза майор Мерцалов, участ-

ник финской войны, сидел за картой с начальником штаба Кудачковым, лысым мужчиной лет сорока, медленным в движениях и речи. Командир первого батальона капитан Бабаджанян в день приезда Богарева страдал от зубной боли, днем он, разгорячившись, напился ключевой воды и ему, как он выражался, «ломало всю челюсть». Командир второго батальона майор Кочетков, добродушный и разговорчивый человек, все посмеивался над Бабаджаняном. Здесь же был помощник начальника штаба, красивый плечистый лейтенант Мышанский.

Полк получил боевую задачу. Он должен был совместно с артиллерией нанести немцам внезапный удар во фланг, чтобы задержать движение противника в обход нашей армии и этим дать возможность выйти из «мешка» частям стрелкового корпуса. Мерцалов знакомил с планом действия командиров и комссаров батальонов. Он уже заканчивал, когда пришел вызванный в штаб командир разведывательного взвода Козлов, круглоглазый, веснучатый лейтенант. Здороваясь, он с необычайной лихостью щелкал каблуками и брал под козырек. Рапортовал он громко, чеканя каждое слово, но круглые глаза его при этом улыбались лукаво и снисходительно спокойно.

Богарев просидел все совещание молча. Он еще находился под впечатлением ночного пожара и несколько раз встряхивал головой, словно желая притти в себя. Вначале командиры часто оглядывались на

Богарева, но затем привыкли и перестали его замечать.

Бабаджаниян, улынувшись, словно его оставила зубная боль, сказал, обращаясь к Богареву:

— Мне нравится, товарищ комиссар, армия отступает, подумайте, армия целая, а батальон Бабаджанияна наступать будет. Честное слово, мне нравится!

МАРЧИХИНА БУДА

Мария Тимофеевна Чередниченко, мать дивизионного комиссара, темнолицая семидесятилетняя старуха, уезжала из родной деревни. Соседи звали ее ехать днем, но Мария Тимофеевна пекла на дорогу хлеб, и он должен был поспеть лишь к ночи. А утром следующего дня уезжал председатель колхоза, и она решила ехать с ним. Внук, одиннадцатилетний Лёня, после окончания занятий в киевской школе приехал гостить к ней в деревню недели за три до войны. С начала войны она не получала писем от сына и решила везти внука в Казань, к родителям его покойной матери, умершей три года тому назад. Дивизионный комиссар просил мать переехать к нему, — в большой киевской квартире ей бы жилось удобней и легче. Она ежегодно ездила к нему гостить, но обычно проводила у сына не больше месяца. Сын возил ее кататься по городу, она была два раза в Истори-

ческом музее и любила театр. Посетители театра с интересом и почтением смотрели на высокую старуху-крестьянку, с морщинистыми трудовыми руками, сидевшую в первом ряду партера. Сын приезжал обычно перед последним действием, он освобождался очень поздно. Они шли по фойе рядом, и все расступались, давая им дорогу — прямой, строгой старухе с черным платком на плечах и такому же темнолицему, строгому, похожему на нее лицом, военному в высоком звании дивизионного комиссара. «Мать и сын», — негромко говорили женщины, оглядываясь.

В 1940 году Мария Тимофеевна болела и не приехала к сыну, он в июле, по дороге на маневры, заехал к ней на два дня. И при этой встрече сын просил Марию Тимофеевну переехать в Киев. После смерти жены жилось ему одиноко, и он все боялся, что Леня растет без женской ласки. Да и огорчило его, что мать в свои семьдесят лет продолжает работать в колхозе, носит воду на коромысле, сама рубит дрова.

Она молча слушала его рассуждения, поила его чаем в саду, под яблоней, которую при нем посадил отец, а перед вечером пошла с ним на кладбище к могиле отца. На кладбище она сказала:

— Разве я могу отсюда уехать? Тут я и умру. Ты уж прости меня, сынок.

И вот Мария Тимофеевна собралась уходить из родного села. Накануне отъезда она пошла к знако-

мой старухе, Внук пошел вместе с ней. Они подошли к хате и увидели, что ворота настежь открыты, во дворе стоял одноглазый старик Василий Карпович, колхозный пастух. Возле него, опустив хвост, юлила рыжая хозяйская собачка.

— Воны уже уехали, — сказал Василий Карпович, — воны думали, вы с утра поидете.

— Нет, мы завтра поедем, — сказал Леся. — Нам председатель подводу дал.

Солнце заката освещало зеленые, начавшие розоветь помидоры, сложенные заботливой рукой хозяйки на подоконнике, пышные цветы, радовавшиеся в палисаднике, фруктовые деревца, обмазанные белым, с подпорочками под ветвями. На перекладине забора лежала аккуратно выструганная рогулька, которой запирались ворота, в огороде среди зеленой ботвы желтели гарбузы, созревшие белые початки кукурузы, стручки бобов и гороха, кругло смотрел черноглазый подсолнух.

Мария Тимофеевна прошла в покинутый дом. И здесь все носило следы мирной жизни, любви хозяев к чистоте и к цветам — на подоконниках стояли курчавые розы, на комодe лимон и два вазона с тоненькими ростками финиковой пальмы. И все, все в доме: и ружонный стол с черными круглыми следами горячих чугунов, зеленый подвесной умывальник с нарисованной на нем белой ромашкой, буфетик с чашечками. Из которых никто никогда не пил, темные картины

на стенах, — все, все говорило о долгой жизни, шедшей в этой брошенной хате, о деде, бабушке, о детях, оставивших на столе учебник «Родная литература», с тихих зимних и летних вечерах. И тысячи таких белых украинских хат стояли пустыми, и хозяева, строившие их, взрастившие вокруг них деревья, шли хмурясь, пыля сапогами по дорогам, ведущим на восток.

— Дедушка, а собаку оставили? — спросил Леня.

— Не захотили его взять, я его буду годувать, — сказал старик и заплакал.

— Ну, чего плакать? — сказала Мария Тимофеевна.

— А, чога, чога, — сказал старик и махнул рукой.

И этим тяжелым движением руки с черными изуродованными трудом локтями выразил он, как рухнула вся жизнь. Мария Тимофеевна, торопясь, пошла к дому, и бледный худенький Леня — он походил не на отца, а на слабую здоровьем мать — едва поспевал за ней и спрашивал:

— Бабушка, а как ты думаешь, есть у журацы позвоночный столб?

— Цыть, Леничка, цыть, — говорила она.

Как горько было идти теперь этой деревенской улицей! Ведь по этой улице везли ее когда-то венчаться в церковь. По этой улице шла она за гробом отца, матери, мужа. И завтра ей предстояло сесть на подводу среди узлов с торопливо собранным скарбом, покинуть дом, где прожила она хозяйкой пятьдесят лет.

где растила детей, куда приехал к пей тихий, понятливый и жалостливый внучек.

А в деревне, освещенной теплым вечерним солнцем, в белых хатах, среди цветников и в милых садах шкрякотом говорили о том, что красных войск нет до самой реки и что старик Котенко, уехавший во время коллективизации в Донбасс, а затем вновь вернувшийся, велел своей старухе мазать белой крейдой хату, как перед Пасхой. И вдовая бабка Гуленьская стояла у колодца и всем говорила:

— Кажуть, вин полоски наризае...

И слухи темные, нечистые пошли по деревне. Старрики, выйдя на улицу, смотрели в сторону, откуда каждый вечер в розовой пыли заката возвращалось с выпаса стадо — откуда из-за дальнего леса, из дубовой рощи, должен был появиться герман. Бабы, плача, всхлипывая, рыли в садах и под домами ямы, укладывали туда свое добро — одеяла, валенки, посуду, полотно — и оглядывались на запад. Запад был ясен и тих.

Председатель колхоза Грищенко зашел к старику Котенко взять четыре мешка, которые Котенко одолжил у него месяц тому назад.

Котенко, высокий, плечистый старик, лет шестидесяти пяти, с густой бородой, сидел за столом и смотрел, как старуха мазала хату.

— Здравствуйте, — сказал Грищенко, — пришел к вам мешки свои взять.

Котсянко насмешливо спросил:

— В дорогу ты собрался, председатель колхоза?

— А как же, надо ехать,—сказал Грищенко, зло поглядев на старика. Тот словно выпрямился за эти дни. Речь стала насмешливой, неторопливой, и обратился он к Грищенко «на ты».

— Да, да, ехать надо,—говорил ему старик,—как же тебе не ехать: председатель сельсовета уехал, из конторы все уехали, счетовод уехал, почти все ваши уехали, почтальон и тот уехал, все бригадиры уехали.

Он рассмеялся.

— Видишь, какое дело. А мешков я тебе отдать не могу — понимаешь, взял их зять и повез в них зерно в Белый Колодец, только послезавтра обратно будет.

Грищенко кивнул головой и сказал спокойно:

— Ладно, пусть пропадает. А чего это вы хату задумали мазать?

— Хату мазать? — переспросил старик. Ему хотелось сказать председателю, для чего он мажет хату. Но осторожный, скрытный, привыкший таиться, он и сейчас побоялся. «Кто его знает, возьмет да застрелит», — подумал он. Он словно пьянел от радости, и ему хотелось сейчас, хотя запад еще пуст, хотя председатель колхоза еще ходит по хатам, высказать все, что лежит в его душе, все, что думал он в зимние ночи, о чем не говорил даже со своей старухой. Когда-то, лет сорок тому назад, ездил он к дяде

своему, батрачившему у богатого кулака-эстонца Навек вошли ему в сердце и душу воспоминания о большом скотном дворе, о паровой мельнице, о самом хозяине, плотном, бородатом старике в красном тулупчике, обшитом мехом. Ему помнилось, как, объезжая лес, где пилили дрова батраки, хозяин вынул из кармана бутылочку, отвинтил затейливую пробку и выпил глоток водки, настоенной на коричнево-красных ягодах. Это не был купец, это не был помещик-дворянин, нет, это был мужик, но мужик богатый, сильный. И вот стать таким богатым мужиком, имеющим красивых красных коров, стада овец, сотни больших розовых свиней, мужиком, в чьем хозяйстве работают десятки крепких, послушных батраков, стало мечтой Котенко. Он шел к осуществлению своей мечты жестоко, неумолимо. В 1915 году у него было 60 десятин земли, он построил паровую крупорушку. Революция отняла у него все это. Двое из его сыновей ушли в Красную Армию и погибли на фронтах гражданской войны. Котенко не позволил жене повесить их фотографии на стену. Котенко ждал, надеялся. В 1931 году он ушел в Донбасс и 8 лет проработал на шахте. А мечта о кулачьей жизни не хотела, не могла умереть.

И сейчас, казалось ему, пришло время осуществления этой мечты.

Все годы мучила его зависть к старухе Чередниченко. Котенко видел, что почет, который он хотел по-

лучить при царской власти, она получала в трудовой жизни после революции. Ее возили в город, и она говорила речи в театре. Котенко не мог спокойно смотреть на ее фотографию, напечатанную в районной газете, — старуха с тонкими губами, в черном платке на плечах, смотрела умными, суровыми глазами и, казалось ему, насмехалась над ним. «Эх, Котенко, не так ты жил», — говорило ее лицо. И ужас, ненависть охватывали его, когда видел он эту старуху, спокойно идущую работать в поле, когда соседи говорили:

— А Тимофеевна в Киев к сыну поехала, — лейтенант за ней на машине голубой приезжал.

Но теперь Котенко знал — не зря ждал он, прав оказался он, а не она. Недаром он отпустил себе такую же бороду, какую носил кулак-эстонец, недаром ждал он, недаром надеялся.

И, глядя на председателя, пытливо смотревшего на него, он сдерживал и успокаивал себя: «Подожди, подожди, ты дольше ждал, теперь ведь денек ждать, один лишь только денек».

— Кто его знает, — зевая, сказал он, — кто его знает, вот пришлось бабе в голову мазать хату в такое время, а уж если баба захочет, разве сделаешь с ней что.

Он вышел проводить председателя, долго смотрел на пустую дорогу, и в голове его весело, возбужденно шевелились мысли:

— Черевиченко хату на моей земле построил, значит — хата моя будет, а захочет Черевиченко остаться в этой хате, аренду станет мне платить золотыми деньгами... Колхозная конюшня на моей земле поставлена, значит — моя будет конюшня... Колхозный сад на моей земле посажен, значит — мой будут черешни и яблони... И пасека колхозная моей будет, докажу, что эти ульи у меня в революцию забрали...

Дорога стояла спокойная, пустая, не пылила, деревья не шелохнутся вдоль этой дороги. Красное, сытое, спокойное солнце опускалось к земле.

«Ну, вот и дождался я», — думал Котенко.

* * *

Леня спросил:

— Бабушка, мы успеем уехать?

— Успеем, Леничка, — ответила Мария Тимофеевна.

— Бабушка, а почему мы отступаем все время: разве немцы сильнее?

— Ты спи, Леничка, — сказала Мария Тимофеевна, — завтра поедем, только светать начнет. И я на часок прилягу, отдохну, а потом собираться буду. Дышать мне трудно, словно камень на грудь положили. Снять его хочется, и нету сил снять его.

— А папу не убили, бабушка?

— Что ты, Леня, твоего папу не убьют. Он сильный.

— Сильней Гитлера?

— Сильней, Леничка. Он мужиком был, как дедушка наш, а теперь генерал. Он умный, знаешь, какой умный.

— А папа все молчит, бабушка. Посадит меня на колени и молчит. А раз мы с ним вместе песни пели.

— Спи, Леня, спи.

— А корова пойдет с нами?

Никогда Мария Тимофеевна не испытывала такой слабости, как в этот день. Дела было много, а сила вдруг вся ушла, и почувствовала она себя дряхлой, слабой.

Она постелила на лавку ватное одеяло, положила подушку и легла. Было жарко от печи. И горячие хлебы, вынутые из печки, золотые, словно солнце, пахли приятно, сладко, и от них шло тепло. Неужели в последний раз вынула она из своей печи хлебы, неужели не будет она больше есть хлеб из своей пшеницы? Мысли путались в ее голове. Вот в детстве так лежала она на теплой печи, на отцовском мохнатом кожухе и смотрела на паляницы, вынутые матерью из печи. «Манька! Снидаты иды»,—звал ее дед. Где сын теперь? Жив ли он? Как добраться? «Манька, а Манька»,—позвала ее сестра, и она босыми худыми ножками пробежала по прохладному глиняному полу. Портреты все нужно взять, фотографии снять со стены. Цветы останутся. Деревья фруктовые останутся. И могилы все останутся. Не пошла она на кладбище проститься, а ведь хотела. И кошка оста

нется. Рассказывают колхозники, что в сожженных деревнях остаются одни лишь кошки. Собаки уходят с хозяевами, а кошки — привычные к дому, не хотят уходить. Ох, как жарко, как трудно дышать, какая тяжесть в руках. Руки точно сейчас только почувствовали ту великую работу, которую старуха сделала в свою семидесятилетнюю жизнь. Слезы текут по щекам, а руку тяжело поднять, и слезы текут, текут. Вот так она плакала, когда лисица утащила из стада самую жирную гусыню. Вечером она пришла домой, и мать спросила печально:

— Манька, а где гуска наша?

Она плакала, и слезы текли по щекам. И отец — суровый, всегда молчаливый — подошел к ней, погладил по голове, сказал: «Не плачь, доню, не плачь». И ей казалось, что и сейчас плачет от сладкого счастья, когда почувствовала она на своих волосах ласковую шершавую руку отца.

В этот горький последний вечер ее жизни словно исчезло время, и в хату, которую она должна была покинуть, вновь пришло ее детство и девичество, первые годы замужней жизни. Она слышала плач своих грудных детей и веселый, хитрый шопот подруг, она видела сильного, молодого черноволосого мужа, он угощал за столом гостей, и она слышала звяканье вилок, хруст соленых огурцов, крепких, как яблоки. Это бабка научила ее солить огурцы. Гости запели, и она подтягивала им молодым своим голо-

сом, и чувствовала на себе взгляды мужиков, а муж гордился ею и, ласково покачивая головой, старик Афанасий говорил: «Ой, то Марья...»

Должно быть, она заснула. Потом ее разбудил шум необычайный, дикий, такого шума никогда не было в ее родном селе. Проснувшийся Леня звал ее: «Бабушка, бабушка, вставай скорей! Бабушка, я тебя очень прошу, не нужно спать».

Быстро подошла она к окошечку.

Ночь ли то была или пришел новый страшный день? Все стало красно-розовым, словно всю деревню — и низенькие хаты, и стволы берез, и сады, и заборы — облило кровавой водой. Слышались выстрелы, гудение автомобильных моторов, слышались крики. Немцы ворвались в деревню. Вошла орда..

Мария Тимофеевна поняла, что пришла ее смерть.

— Леня, — сказала она, — беги к пастуху, к Василию Карповичу, он тебя выведет, он пройдет с тобой к папе.

Она помогла внуку одеться. Слабость исчезла, спокойны были ее глаза. Она поняла, что пришла ее смерть, и она знала, чувствовала великую силу встретить свою смерть достойно. Мысли не путались у нее больше, шли плавно, ясно.

— Где моя шапочка? — спросил внук.

— Теперь тепло, пойдя без шапочки, — сказала она.

Он, словно взрослый, сразу понял, почему не нуж-

но надевать матросскую курточку с золотыми пуговицами.

— Наган и рыболовные крючки можно взять? — тихо спросил он.

— Бери, бери, — и она передала ему игрушечный черный револьвер.

Мария Тимофеевна обняла внука и поцеловала его в губы. Она сказала ему:

— Иди, Леничка, скажи отцу — кланялась тебе мать, низко до самой земли, а ты, внучек, помни бабу, не забывай меня.

Он выбежал из хаты в тот момент, когда немцы шли к их двору.

— Огородами беги, огородами, — крикнула ему вслед бабушка.

Он бежал, и, казалось, слова ее прощания навеки утонули в смятенной детской душе. И не знал он, что слова эти вновь возникнут в памяти и никогда уже не забудутся им.

БАТАЛЬОН БАБАДЖАНЯНА

Ночью Мерцалова вызвал по телефону командир дивизии полковник Петров. Разговаривать было очень трудно — связь все время нарушалась, слышимость была на редкость скверной. Под конец разговора связь прервалась окончательно. Мерцалов понял из слов

полковника, что обстановка на участке дивизии в последние часы резко ухудшилась. Он приказал разбудить Мышанского и послал его в штаб дивизии. До штаба было 12 километров. Мышанский вернулся через час с письменным приказанием командира дивизии. Немецкая танковая колонна с большим количеством мотопехоты проникла в тыл дивизии, воспользовавшись тем, что болото, восточней большого лиственного леса, высохло за жаркие и сухие дни августа. Немцы приближались к шоссе, минуя большак, который оборонялся полком Мерцалова. В связи с новой обстановкой дивизия получила приказ выйти на шоссе, занять рубеж обороны южнее занимаемого ею сейчас. Полку Мерцалова с приданным ему гаубичным дивизионом приказано было отходить, прикрывая большак. Мышанский рассказал, что при нем в штабе дивизии уже сматывали связь, снимали шестовку и грузили вещи на машины, что два стрелковых полка, дивизионная артиллерия и приданный гаубичный полк в десять часов вечера уже вытянулись походным порядком, что медсанбат ушел в шесть часов утра.

— Значит, Анички не видел? — спросил лейтенант Козлов.

— Какая Аничка! — сказал Мышанский. — При мне приехали делегаты связи, один из штаба армии, второй от правого соседа, майор Беляев, я с ним еще в Бресте встречался, говорит, на их участке день и

ночь кровавые бои. Наша артиллерия что-то страшное наворотила, но они прут.

— Да, положение создается крепкое, — сказал начальник штаба.

Мышанский нагнулся к нему и проговорил негромко:

— Это можно одним словом выразить: «окружение». Мерцалов сердито сказал:

— Бросьте вы об окружении говорить. Действовать надо согласно боевому приказу. — Он обратился к дежурному: — Вызвать командиров батальонов и командира гаубичного дивизиона. Где комиссар? — спросил он.

— Комиссар у саперов, — ответил начальник штаба.

— Попроси его на капе.

Ночь была темной, тихой и очень тревожной. Тревога была в дрожащем свете звезд, тревога тихо шуршала под ногами часовых, тревога темными тенями стояла среди ночных неподвижных деревьев, тревога, поскрипывая сучьями, двигалась с разведчиками и не оставляла их, когда, пройдя мимо боевого охранения, они приближались к штабу полка. Тревога плескала и журчала в темной воде у мельничной плотины, тревога была всюду — в небе, на земле, на воде. Наступили минуты, когда на каждого входящего в штаб смотрели пылливо, ожидая недоброй вести, когда далекие зарницы заставляли настораживаться, и от пустого шороха часовые вскидывали винтовки и

кричали: «Стой, стреляю!» И в эти минуты Богарев с молчаливым восхищением наблюдал за Мерцаловым, командиром стрелкового полка. Он один говорил весело, уверенно, громко. Он смеялся и шутил. В эти часы ночной тяжелой опасности вся великая ответственность за тысячи людей, за пушки, за землю лежала на нем. Он не томился этой ответственностью.

Сколько драгоценных свойств духа зреет, крепнет за одну такую ночь в душе человека! И тысячи лейтенантов, майоров, генералов и комиссаров переживали на протяжении огромного фронта часы, недели этой великой закаляющей и умудряющей тяжелой ответственности.

Мерцалов растолковывал задачу окружающим его командирам. Он был спокоен, этот тридцатипятилетний майор с рыжеватыми волосами, скуластым загорелым лицом, со светлыми, казавшимися то серыми, то голубыми глазами.

— Поднимем по тревоге батальоны? — спросил начальник штаба.

— Пусть еще час поспят ребята. Проснуться бойцу недолго, — сказал Мерцалов. — Спят-то, небось, в сапогах.

Он посмотрел на Богарева и проговорил:

— Прочтите приказ командира дивизии.

Богарев прочел приказ, указывавший полку направление движения и задачу — до вечера сдерживать одним батальоном движение немцев на большаке, а

остальными силами держать переправу через речку Уж.

— Да, вот еще что, — сказал Мерцалов, словно вспомнив о каком-то пустяке. Он вытер платком лоб. — Ну и жара! Может быть, выйдем, воздухом подышим?

Несколько мгновений они простояли молча в темноте. Мерцалов сказал негромко:

— Вот такая штука. Минут через пятнадцать после того, как Мышанский проехал, немцы перерезали дорогу. Связи со штабом дивизии у меня нет, с соседями тоже. В общем полк в окружении. Я принял решение: полку идти к переправе, выполнить задачу, а затем пробиваться на соединение, а батальон Бабаджаняна с гаубицами остается на лесном участке дороги, чтобы сдерживать противника. |

Они помолчали.

— Черти, все время трассирующими в небо пускают, — сказал Мерцалов.

— Что же, решение ваше правильное, — сказал Богарев.

— Ну, вот, — Мерцалов посмотрел на небо, — ракета зеленая. С батальоном я останусь... Вот еще ракету запустили.

— Ни в коем случае, ни в коем случае, — сказал живо Богарев, — с батальоном должен остаться я, и я вам докажу, почему должен остаться я, а вы должны вести полк.

И он доказал это Мерцалову. Они простились в темноте Богарев, не видел лица Мерцалова, но он чувствовал, что тот помнит тяжелый разговор при первой встрече..

Через час потянулись полковые обозы, лошади шагали бесшумно по дороге, негромко фыркали, точно понимали, что нельзя нарушать тишину тайного ночного движения. Красноармейцы появлялись молча из темноты и вновь уходили в темноту. Из темноты на них молча глядели те, кто оставался. В этом молчаливом прощании батальонов была великая торжественность и великая печаль.

В ОКОПАХ

Немцы пошли с рассветом. Танкисты, открыв верхние люки, жевали яблоки, поглядывали на восходящее солнце. Некоторые из них были в трусах и спортивных рубахах с широкими короткими рукавами, не доходящими до локтей. Головной тяжелый танк шел несколько впереди — командир машины, толстый немец, с красной ниточкой кораллов, перетягивающей у локтя его пухлую белую руку, повернул свое большое лицо с крупными веснушками в сторону солнца и звал. Из-под берета у него выбилась длинная прядь светлых волос. Он сидел на танке, словно идол солдатской самоуверенности, словно бог несправедной

войны. Его танк уже отошел не меньше шести километров от Марчихиной Буды, а железный хвост колонны, еще не успев развернуться, погромыхивал, медленно разворачиваясь на деревенской площади.

Быстро, словно стая стремительных шучек, вдруг прыгнувших меж тяжелых карпов, промчались, обгоняя танки, мотоциклисты. Объезжая танки, они не сбавляли скорости, и их сильно подбрасывало на неровностях дороги — темнозеленые коляски мотались, тряслись, стараясь оторваться от мотоциклов. Поравнявшись с головным танком, согнувшиеся, худые, темнлицые мотоциклисты, загоровшие от езды под солнцем, быстро, не поворачивая головы, поднимали для приветствия руку и вновь прилеплялись к рулевому управлению. Толстяк левым движением пухлой руки отвечал. Рота мотоциклистов промчалась вперед, увлекая за собой белые холщевые хвосты пыли. Восходящее солнце окрасило эту пыль в розовый цвет, она, колеблясь, повисала над дорогой, и головной танк, деловито жужжа, въезжал в легкое пыльное облако. В высоте, тонко свистя, прошли «Мессершмитты-109». Тонкие стрекозьи тела мессеров двигались то вправо, то влево, поднимались вверх, стремительно шли книзу, иногда, обогнав голову танковой колонны, возвращались назад, быстро делая крутые виражи. Их свист был так пронзительно тонок, что его не могло заглушить низкое могучее рокотание танков. Мессеры снижались над каждой рощицей, оврагом, обшаривали

участки поля с несжатой пшеницей. Вслед за танками, фыркая, выезжали на дорогу черные трехосные грузовики с мотопехотой. Солдаты сидели рядами на откидных скамьях, все в пилотках набекрень, с черными автоматами в руках. Их машины шли в облаках пыли, такой густой, что даже могучее летнее солнце не могло пробить ее. Пыль широким и длинным облаком неслась над полем и рощами, деревья тонули в густом мглистом тумане, и казалось — земля горит в чадном, сухом дыму.

★ ★ ★

В поле, метрах в десяти от большака, среди прадорожного бурьяна, вырыты ямы. В этих ямах по грудь в земле стоят люди в серо-зеленых гимнастёрках, в пилотках с красными звездами. На дне ямы установлены хрупкие стеклянные бутылки, к краю ямы прислонены винтовки. В карманах брюк у бойцов красные кисеты с махрой, смятые во время сна коробки спичек, сухарики и куски сахара, в карманах гимнастёрок — потертые листки деревенских писем от жен, огрызки карандашей, запалы для гранат, завернутые в обрывки газеты. На боку у людей, стоящих по грудь в земле, брезентовые сумочки, в этих сумочках — гранаты. Если помотришь, как рылись эти ямы, то увидишь — вот два друга жались один к другому, вот пять земляков, стараясь быть поближе, выкопали свои ямки одна к одной. И хоть сержант говорил:

«Не лепись, ребята, так близко, не полагается», но в грозный час так сладко увидеть рядом потное лицо друга, крикнуть: «Не бросай бычка, я дотяну», и почувствовать вместе с горячим дымом тепло и влагу смятой губами, надкусанной самокрутки.

Они стоят по грудь в земле, перед ними пустое поле и пустая дорога... Вот пройдет двадцать минут, и стремительные, весящие две тысячи пудов пушечные танки ворвутся со скрежетом, в крутящихся облаках пыли. «Идут! — крикнет сержант, — идут, ребята, гляди!»

За их спиной, на склоне холма — пулеметчики в блиндажах, еще выше и дальше, за спиной пулеметчиков, в окопах сидят стволы, дальше, за их спиной же, огневые позиции артиллерии, а там дальше командный пункт, медсанбат... А дальше, все дальше за их спиной штабы, аэродромы, резервы, дороги, заставы, леса, затемненные ночью города и станции, там Москва, и еще дальше, все за их спиной, Волга, освещенные ночью ярким электрическим светом тыловые заводы, стекла без бумажных полос, освещенные белые пароходы на Каме. Вся великая земля за их спиной. Они стоят в своих ямах, и нет никого впереди них. Они курят самокрутки из газеты, они проводят ладонью по карманам гимнастерок и ощупывают мятые, стертые на сгибах, листки писем. Облака над ними, пролетит птица и скроется, они стоят по грудь в земле и ждут, всматриваются. Им отражать натиск ган-

ков. Их глаза уже не видят друзей, их глаза ждут врага. Пусть же те, кто сегодня стоят позади них, вспомнят, когда придет день победы и мира, об истребителях танков, о людях в зеленых гимнастерках с хрупкими бутылками горючей жидкости, с брезентовыми сумочками для гранат на боку... Пусть уступят им место на лавке в зеленом вагоне, пусть поделаются с ними кипятком в дороге.

Слева широкий противотанковый ров, укрепленный толстыми бревнами, тянется от заболоченной речки к дороге, справа от дороги — лес.

Родимцев, Игнатьев, московский комсомолец Седов стоят в земле, смотрят на дорогу. Их ямы совсем близко одна от другой. Справа от них через дорогу стоят Жавелев, старшина Морев, младший политрук Еретяк — начальник группы добровольцев истребителей танков. За их спиной два пулеметных расчета — Глаголева и Кардахина. Если всмотреться, то видны пулеметы, глядящие из темной древесно-земляной пещеры на дорогу, правее и сзади от них артиллеристы-наблюдатели, шуршащие среди начавших увядать дубовых ветвей, вкопанных в землю.

— Эй, истребители, пошли рыбу ловить, с утра клюет хорошо! — кричит артиллерист-наблюдатель.

Но истребители не поворачивают к нему головы — ему, конечно, веселей, чем им: перед ним противотанковый ров, слева между ним и дорогой широкие спины истребителей в обесцвеченных соленым потом гим-

настерках. Глядя на эти спины, загоревшие черно-красные затылки, наблюдатель шутит.

— Покурим, что ли? — спрашивает Седов.

— Можно, пожалуй, — говорит Игнатъев.

— Возьми моего, злей, — предлагает Родимцев и бросает Игнатъеву плоскую бутылочку из-под одеколona, наполовину заполненную махоркой.

— А ты что, не будешь? — спрашивает у него Игнатъев.

— Горько во рту, накурился, я лучше сухарика пожую. Дай-ка твоего, он белей.

Игнатъев кидает ему сухарь. Родимцев тщательно сдувает с сухаря мелкий песок и табачную пыль и начинает жевать.

— Хоть бы скорей, — говорит Седов и затягивается, — хуже нет как ждать.

— Наскучило? — спрашивает Игнатъев. — Гитару я забыл взять.

— Брось шутить-то, — сердито говорит Родимцев.

— А ведь страшно, ребята, — говорит Седов, — дорога эта стоит белая, мертвая, не шелохнется. Вот сколько жить буду, забыть не смогу.

Игнатъев молчит и смотрит вперед, слегка приподнявшись, опершись руками о края своей ямы.

— Я в прошлом году, как раз в это время, в дом отдыха ездил, — говорит Седов и сердито плюет. Его раздражает молчание товарищей. Он видит, что Ро-

димцев совершенно так же, как Игнатъев, смотрит, слегка вытянув шею.

— Старшина, немцы! — протяжно кричит Родимцев.

— Идут! — говорит Седов и негромко вздыхает.

— Ну, пылица, — бормочет Родимцев, — как от тыщи быков.

— А мы их бутылками, — кричит Седов и смеется, плюет, матерится. Нервы его напряжены до предела, сердце колотится бешено, ладони покрываются теплым потом. Он их вытирает о шершавый край песчаной ямы.

Игнатъев молчал и смотрел на вздыбившуюся над дорогой пыль.



На командном пункте запищал телефон. Румянцев взял трубку. Говорил наблюдатель — передовой отряд немецких мотоциклистов напоролся на минированный участок. Несколько машин взорвались на правом и левом объезде, но сейчас они прошли вперед, снова движутся по дороге.

— Вот они, смотрите! — сказал Бабаджанян. — Сейчас мы их встретим. Он вызвал к телефону командира пульроты лейтенанта Косюка и приказал, подпустив мотоциклы на близкую дистанцию, открыть огонь из станковых пулеметов.

— Сколько метров? — спросил Косюк.

— Зачем метры, — сказал Бабаджанян, — до сухого дерева, с правой стороны дороги.

— До сухого дерева, — повторил Косюк.

Через три минуты пулеметы открыли огонь. Первая очередь дала недолет — по дороге поднялись быстрые пыльные облачка, словно длинная стая воробьев торопливо купалась в пыли. Немцы с хода открыли огонь, они не видели цели, но плотность этого непряцельного огня была очень велика, весь воздух зазвучал, заполнился невидимыми смертными струнами, пылевые дымки, сливаясь в стелящееся облако, поползли вдоль холма. Сидевшие в окопах и блиндажах красноармейцы пригнулись, опасно поглядывая на поющий над ними голубой воздух.

В это время станковые пулеметы послали очереди точно по мчавшимся мотоциклистам. Мгновенье тому назад казалось, что нет силы, могущей остановить этот грохочущий выстрелами летучий отряд. А сейчас он на глазах превращался в прах, машины останавливались, валились набок, по инерции колеса разбитых мотоциклов продолжали вертеться, взбивая пыль. Уцелевшие мотоциклисты повернули в поле.

— Ну, что? — спросил Бабаджанян у Румянцева. — Ну, что, товарищи артиллеристы, — плохие у нас, скажете, пулеметчики?

Молодой немец, припадая на раненую либо ушибленную ногу, выбрался из-под опрокинутой машины

и поднял руки. Стрельба прекратилась. Он стоял в порванном мундире, с выражением страдания и ужаса на грязном, исцарапанном в кровь лице, и вытягивал. вытягивал руки кверху, точно яблоки хотел сорвать с высокой ветки. Потом он закричал и, медленно ковыляя, шевеля поднятыми руками, побрел в сторону наших окопов. Он шел и кричал, и постепенно хохот перекатывался от окопа к окопу, от блиндажа к блиндажу. С командного пункта была хорошо видна фигура немца с поднятыми руками, и командиры не могли понять, почему хохот поднялся среди бойцов. В это время позвонил телефон, и с передового энка объяснили причину внезапной веселости.

— Товарищ командир батальона, — жалобно, от душившего его смеха, кричал в трубку Косюк, — той немец ковыляе и крычить, як оглашенный: «Русь, здачайся!» А сам руки подняв... Он со страху уся руськи слова перепугав.

Богарев, смеясь вместе с другими, подумал: «Это все хорошо, такой смех, когда приближаются танки, это здорово хорошо», — и спросил Румянцева: — Все ли у вас готово, товарищ капитан?

Румянцев ответил:

— Все готово, товарищ комиссар. Данные заранее подготовлены, орудия заряжены, мы покроем сосредоточенным огнем весь сектор, по которому пойдут танки.

— Воздух! — протяжно прокричали сразу несколько человек.

И одновременно запищали два телефонных аппарата.

— Идут, головной в двух тысячах метрах от нас, — сказал, растягивая слова, Румянцев. Глаза его стали строги, серьезны, а рот все еще продолжал смеяться.

Самолеты и танки показались почти одновременно. Низко над землей шла шестерка «Мессершмиттов-109», над ними два звена бомбардировщиков, еще выше, примерно на высоте полутора тысяч метров, звено «Мессершмиттов».

— Классическое построение перед бомбежкой, — пробормотал Навтулов, — нижние мессера прикрывают выход из пики, верхние прикрывают вхождение в пики. Сейчас дадут нам жизни.

— Придется демаскироваться, — сказал Румянцев, — ничего не попишешь, но мы им крепко дадим прикурить. — И он приказал командирам батарей открыть огонь.

Богарев снял телефонную трубку. Параллельное включение позволило ему слушать переговоры между командирами батарей и наблюдательными пунктами. «Огонь!» — послышалась далекая команда, и на несколько мгновений все звуки угасли, и лишь грохотали в ушах оглушительные молоты залпов. И сразу поднялся пронзительный шелестящий ветер пошедших к цели снарядов. Показалось, что целые роши выс-

ких тополей, осин, молодых берез зашелестели, зашумели миллионами молодых листьев, гнутся, раскачиваются от могучего, налетевшего на них ветра. Кажется, ветер рвет свою крепкую, гибкую ткань на тонких ветвях, казалось, в своем стремительном ходе поднятый сталью ветер увлечет за собой и людей и самую землю. Издали слышались разрывы. Один, второй, несколько слитных, потом еще один.

Богарев услышал в трубку далекий голос, называвший данные для стрельбы. В интонациях этих протяжных голосов, говоривших одни лишь цифры, выражалась вся страсть битвы. Цифры торжествовали, неистовствовали, цифры, ожившие, цепкие, одновременно холодные и раскаленные. И вдруг голос, произносивший данные для стрельбы, сменился другим: — «Лозенко, ты в землянцы брав пачку махорки?»

— «Ну, брав, а ты хйба не брав у мене?» И снова командирский голос, выкрикивавший данные, и второй, повторяющий их.

А в это время бомбардировщики кружились, выскивая цели. Навтулов побежал на огневые позиции.

— Огня не прекращать при любых условиях! — крикнул он командиру первой батареи.

ГОРЬКО ЛИ, ТОШНО, — СТОЯТЫ

Два Юнкерса над огневыми позициями перешли в пики. Зенитные учетверенные пулеметы пускала по ним очередь за очередь.

— Круто пикируют, — сказал Навтулов, — ничего не скажешь.

— Огоны! — закричал лейтенант.

Трехорудийная батарея дала залп. Грохот залпа смешался с грохотом разорвавшихся бомб. Тучи земли и песка прикрыли артиллеристов.

Утирая потные и грязные лица, они уже вновь заряжали орудие.

— Морозов, цел? — крикнул лейтенант.

— Вполне цел, товарищ лейтенант, — ответил наводчик Морозов, — наша веселей, товарищ лейтенант.

— Огонь! — скомандовал лейтенант.

Остальные самолеты кружили над передним краем, оттуда слышались пулеметные очереди и частые разрывы бомб.

Артиллеристы-огневики работали со злым упорством, со стремительной страстью: в их слаженных движениях, объединенных братством помысла и усилий, выражалась торжественная мощь общего труда. Тут уже не работали отдельные люди — худой грузин, досылающий, плечистый, низкорослый татарин, подносчик, еврей, правильный, черноглазый украинец, заряжающий, прославленный мастер-наводчик Морозов. Здесь работал один человек. Он мельком глядел на вышедших из пики Юнкерсов, вновь делающих боевой разворот и идущих на бомбежку батареи, он утирал пот, усмехался, ухал вместе с пушкой, опять делал свое умное,

сложное дело, сторукий, быстрый, смывший благородным трудовым потом все следы боязни со своего лица. Он, этот человек, работал и на втором, третьем орудии первой батареи и на орудиях второй батареи. Он не останавливался, не ложился, не бежал к блиндажу, когда выли бомбы; он не переставал трудиться под чугунными ударами разрывов; он не останавливался радостно глазеть, когда закричали бойцы; лежавшие в резерве третьей роты: «Подбили зенитчики, пошел вниз, горит!» Он не терял времени, он работал. Для всех этих людей было лишь одно слово: «Огонь!» И это слово, соединенное с их трудом, рождало огонь.

Наводчик Морозов, вихрастый, веснучатый, кричал: «Наша веселей!» А управленцы, выдавшие сокрушительную работу огневику, все сыпали в этот огонь цифры, цифры, цифры.

Снаряды начали рваться среди танковой колонны совершенно неожиданно для немцев. Первый снаряд попал в башню тяжелого танка и разнес ее. С наблюдательного пункта видно было в бинокль, как танкисты, высунувшиеся из люков, быстро и юрко прятались в машины.

— Слово еуслики, в поры лезут, товарищ лейтенант, — сказал разведчик, сидевший на артиллерийском энке.

— Да, действительно, похоже, — сказал лейтенант и кивнул телефонисту:

— Огурченко, крути четвертый.

Лишь толстяк, сидевший на головном танке, не спрятался в люк. Он помахал рукой, перетянутой красной ниткой кораллов, словно подбадривал машины, идущие сзади. Потом он достал из кармана яблоко и жадкусил. Колонна, не нарушая строя, двигалась дальше. Лишь в тех местах, где подбитые машины становились поперек дороги, водители объезжали горящие и разбитые танки. Часть машин, не возвращаясь на дорогу, шла полем.

В двух километрах от укрепленного рубежа танки рассыпали походный порядок и пошли развернутым строем. Стыснутые справа лесом, слева рекой, они шли довольно плотной массой в несколько рядов. На дороге горело около двадцати машин.

Огонь русской артиллерии широким веером ложился на поле, танки начали отвечать, первые снаряды пронесли над истребителями и взорвались в расположении пехоты, окопавшейся на склоне холма. Затем немцы перенесли огонь выше, очевидно, пытались подавить русскую артиллерию. Большая часть танков остановилась. В воздухе появился «горбач»-корректировщик. Он установил радиосвязь с танками. Радист на командном пункте произнес, жалуясь:

— Словно молоток, мне, товарища, в уши стучит немец: «гут, гут, гут».

— Ничего, ничего, — сказал Богарев, — тут, да не очень.

Бабаджания негромко сказал Богареву:

— Сейчас танки пойдут в атаку, товарищ комиссар. Я уже эту тактику знаю — в третий раз вижу.

Он приказал по телефону ввести в бой минометы и добавил:

— Вот вам и полевая почта в день рождения жены.

— На случай прорыва следовало бы отвести артиллерию, — сказал лейтенант-артиллерист.

Но Румянцев раздраженно ответил:

— Если мы начнем отводить орудия, то немцы наверняка прорвутся и погубят дивизион. Разрешите, товарищ комиссар, выдвинуть вперед две батареи и открыть огонь прямой наводкой.

— И немедленно, не теряя секунды, — волнуясь проговорил Богарев. Он понимал, что наступила решающая минута.

Немцы, очевидно, приняли прекращение огня за отход артиллерии и усилили обстрел. Через несколько минут танки по всей линии перешли в атаку. Они шли на больших скоростях, стреляя с хода из пушек и пулеметов.

Несколько красноармейцев, пригнувшись, бежали от верхнего блиндажа — один из них упал, пораженный случайной пулей, остальные, еще ниже пригнувшись, бежали мимо командного пункта.

Бабаджанян вышел к ним навстречу.

— Куда, куда? — закричал он, выхватив револьвер.

— Танки, товарищ капитан! — задыхаясь, проговорил красноармеец.

— Что, у вас живот болит? Зачем согнулись? — злобно закричал Бабаджанян. — Выше голову! Идут танки, их надо встречать, а не бегать, как зайцы. Назад, шагом марш!

В это время гаубицы открыли огонь. Лишь теперь огневики увидели врага. Удары тяжелых снарядов были потрясающе сильны. От прямых попаданий металл корчился, пламя вырывалось из люков, столбами поднималось над машинами. Но не только прямые попадания, тяжелые осколки могучих снарядов пробивали броню, калечили гусеницы; машины жужжали, вертясь вокруг своей оси.

— Неплохая у нас артиллерия, — кричал на ухо комбату Румянцев, — а, товарищ Бабаджанян, неплохая?

На всем поле атака танков была приостановлена. Но в той полосе, где проходил большак, немцам удалось продвинуться вперед. Тяжелый головной танк, стреляя из пушки и строча всеми своими пулеметами, ворвался на участок, где засел отряд истребителей. За ним стремительно шли четыре машины.

Огонь артиллерии ослабел — два орудия были подбиты и не могли вести стрельбы, третье прямым попаданием снаряда было совершенно искажено, сани-

тары унесли тяжело раненых артиллеристов. Тела убитых сохранили в себе устремление боевого труда — люди погибли, работая до последнего вздоха.

— Ну, ребята, пришло время... Горько ли, тошно, — стой на месте! — кричал Родимцев.

Они трое взялись за бутылки с горючей жидкостью.

Седов первым поднялся из ямы. Головной танк шел прямо на него. Пулеметная очередь попала Седову в грудь, голову, и он упал на дно ямы.

Игнатьев видел гибель товарища. Над головой его, скрежеща, прошла пулеметная очередь, врезалась в землю, танк промчался совсем близко. — Игнатьев отшатнулся даже. На мгновение мелькнуло у него воспоминанье, как он мальчишкой стоит на станции, куда с отцом возили пассажира, и мимо, обдав теплом, запахом горячего масла, с грохотом промчался паровоз курьерского поезда. Он распрямился и бросил бутылку — и сам подумал почти с отчаянием: «Ну, что ты паровозу литровкой сделаешь». Бутылка угодила в башню — легкое, подвижное пламя сразу же взвыло, подхваченное ветром. В этот миг Родимцев бросил связку гранат под гусеницы второй машины. Игнатьев снова бросил бутылку. «Этот поменьше будет, — мелькнула у него хмельная мысль. — В такой и поллитром можно».

Огромный головной танк вышел из строя. Очевидно,

водитель пытался его развернуть, но из-за пожара не успел этого сделать. Верхний люк открылся, поспешно полезли немцы с автоматами, прикрывая от пламени лица, начали прыгать на землю.

Словно инстинкт подсказал Игнатьеву: «Вот этот убил Седова».

— Стой! — закричал он и, схватив винтовку, выскочил из ямы.

Огромный, плечистый и толстый немец, с рукой, перехваченной ниткой кораллов, один остался в поле. Остальные члены его экипажа, согнувшись, бежали по заросшему бурьяном кювету. Немец один остался стоять во весь свой большой рост. Увидев Игнатьева, бежавшего к нему с винтовкой, он приложил автомат к пузу и застрочил. Почти вся очередь прошла мимо Игнатьева, но последние пули ударили по винтовке, расщепили приклад. На мгновение Игнатьев остановился, потом бросился к немцу. Немец пытался перезарядить автомат, но увидал, что не успеет этого сделать. Он не струсил, да по всему видно было, что он не трус, — одновременно тяжелым и легким шагом пошел он на Игнатьева.

У Игнатьева потемнело в глазах — вот этот человек убил Седова, он сжег в одну ночь большой, прекрасный город, он убил красавицу девушку-украинку, он топтал поля, рушил белые хаты, он нес позор и смерть народу.

— Эй, Игнатьев! — слышался откуда-то издали голос старшины.

Немец верил в свою силу и храбрость, он проходил многолетнюю гимнастическую тренировку, он знал жесткие и быстрые приемы борьбы.

— Ком, ком, Иван, — говорил он.

Он словно пьянел от величия своей позы, один среди горящих танков, под грохот разрывов он стоял на завоеванной земле, он, прошедший по Бельгии, Франции, топтавший землю Белграда и Афин, он, чью грудь сам Гитлер украсил железным крестом.

Словно возродились древние времена поединков, и десятки глаз смотрели на этих двух людей, сошедшихся на исковерканной битвой земле. Туляк Игнатьев поднял руку, страшен и прост был удар русского солдата — не в грудь ударил он врага, он поступил так, как велело ему сердце. Он ударил врага кулаком по лицу.

Коротко и сухо треснул винтовочный выстрел. Это стрелял Родимцев.

Немецкая атака была отбита. Четыре раза переходили немецкие танки и мотопехота в атаку. Четыре раза поднимал Бабаджанян батальон против немцев. бойцы шли с гранатами и с бутылками горючей жидкости.

Хрипло кричали команду артиллерийские начальники. по реже и реже гремели голоса пушек.

Просто умирают люди на поле сражения.

— Не играть нам с тобой, Вася, больше, — сказал комиссар Навтулов. Крупнокалиберная пуля попала ему в грудь, кровь текла при каждом вздохе изо рта Румянцев поцеловал его и заплакал.

— Огоны! — закричал командир батареи, и в грохоте пушек потонул последний шопот Навтулова.

Смертельно был ранен в живот Бабаджанян во время четвертой атаки немецких танков. Бойцы положили его на плащ-палатку и хотели вынести из боя.

— У меня еще есть голос, чтобы командовать, — сказал он.

И пока не была отбита атака, его голос слышали бойцы. Он умирал на руках у Богарева.

— Не забывай меня, комиссар, — сказал он, — за эти дни ты стал мне другом.

И глядя на худое лицо умирающего комбата, Богарев понял, что нет для него ближе людей, чем те, с кем шел он вместе на смертный бой.

Умирали бойцы. Кто расскажет об их подвигах? Их мертвые тела преданы земле. Лишь быстрые облака видели, как бился до последнего патрона боец Рябонь, как, уложив десять врагов, взорвал себя холодной рукой политрук Еретик, как, окруженный немцами, стрелял до последнего вздоха красноармеец Глушков, как, истекая кровью, бились пулеметчики Глаголев и Кардахин, пока слабеющие пальцы могли

нажимать на спусковой крючок, пока мерцавший взор в знойном тумане видел боевую цель.

Миллионный народ идет умирать за свою свободу так же, как шел на тяжкий труд. Велик народ, чьи сыновья умирают свято, просто и сурово на необозримых полях сражения. О них знают небо и звезды, их последние вздохи слышала земля, их подвиги видели несжатая рожь и придорожные рощи. Они спят в земле, над ними небо, солнце и облака.

Они спят крепко, спят вечным сном, как спят их отцы и деды, всю жизнь трудившиеся плотники, землекопы, шахтеры, ткачи, крестьяне великой земли. Много тяжкого, подчас непосильного труда отдали они этой земле. Пришел час войны, и они отдали ей свою кровь и свою жизнь. Пусть же эта земля славится трудом, разумом, честью и свободой. Пусть не будет слова величавей и святей, чем слово — народ.

Ночью, после похорон погибших. Богарев пошел в блиндаж.

— Товарищ комиссар, — сказал дежуривший у блиндажа красноармеец, — посыльный пришел.

— Какой посыльный? — удивленно спросил Богарев. — Откуда?

Вошел небольшого роста красноармеец с сумкой и винтовкой.

— Откуда вы, товарищ боец?

— Из штаба дивизии, почту принес.

— Как же вы прошли, ведь дорога отрезана?

— Пробрался, товарищ комиссар, километра четыре на пузе полз, через речку переправился ночью, немца часового застрелил, вот погон с него принес.

— Страшно было пробираться? — спросил Богарев.

— Да чего мне бояться, — усмехаясь, сказал красноармеец, — у меня душа дешевая, как балалайка, я за нее не боюсь, я ей цену малую положил. Чего же за нее бояться?

— Будто так? — серьезно спросил Богарев. — Будто так?

Красноармеец, усмехаясь, молчал.

Первое письмо было Бабаджаняну. Богарев посмотрел на приписанный снизу обратный адрес: письмо пришло из Армении, от жены Бабаджаняна.

Командиры рот Овчинников и Шулейкин, политрук Махоткин, быстро перебирая письма, негромко говорили:

— Этот есть, убит... убит... убит... этот есть... убит... — и откладывали письма убитых в отдельную стопку.

Богарев взял письмо Бабаджаняну и пошел к его могиле. Он положил письмо на могильный холм, прикрыл его землей, придавил сверху ссколком снаряда.

Долго простоял он над могилой комбата.

— Когда же мне придет твое письмо, Лиза? — спросил он вслух.

В три часа утра радист принял коротенькую шифровку по радио. Командующий армией благодарил бойцов и командиров за мужество. Потери, нанесенные ими немецким танкам, огромны, они блестяще выполнили задачу и задержали движение мощной колонны. Остаткам батальона и артиллерии предложено было отходить.

Богарев знал, что отходить некуда, разведка донесла о ночном движении немцев по проселочным дорогам, пересекающим большак.

С тревожными вопросами подходили к нему командиры. «Мы в окружении», — говорили они.

После гибели Бабаджаняна он один должен был решать. Фразу, которую часто любят говорить на фронте: «Я познакомился с обстановкой и принял решение» — даже в тех случаях, когда речь идет о ночевке или обеде, теперь впервые торжественно произнес Богарев, обращаясь к командирам и политрукам, собравшимся в блиндаже.

Он внутренне подивился, проговорив эти слова, и подумал: «Вот бы Лиза меня увидала».

— Товарищи командиры, решение мое таково, — сказал Богарев. — Мы отходим в лес. Там мы отдохнем, организуемся и с боем пробьемся к реке, для переправы на восточный берег. Своим заместителем назначаю капитана Румянцева. Выступаем ровно через час.

Он оглядел утомленные лица командиров, суровое, постаревшее лицо Румянцева и совсем другим голосом сказал:

— Друзья мои, помните, тот, кто мог так биться, — отступая, не будет побежден. Почтим вставанием погибших в бою наших верных друзей — красноармейцев, политработников и командиров.

ЛЕНЯ

Пастух Василий Карпович шел с Леной Чередниченко по деревням, занятым немцами. Мальчик сильно уставал, разбил себе в кровь ноги. Он спрашивал у старика:

— Почему кровь идет из ног, ведь мы все время идем по мягкой дороге?

Кормились они в пути хорошо, бабы давали им вдовсталь молока, хлеба, сала. В последнюю ночь они остановились ночевать в хате, где жила женщина с двумя дочерьми. Обе девушки учились в десятом классе, они изучали алгебру, геометрию, знали немало французский язык. Своих дочерей мать одела в рваное тряпье, руки и лица у них были запачканы землей, волосы нечесаны и спутаны. Делалось это для того, чтобы немцы не обидели красивых девушек. Девушки смотрелись все время в зеркало и смеялись. Им все казалось, что через день или два кончится эта

дикая, страшная жизнь, что староста им вернет отобранные по приказу немецкого коменданта учебники геометрии, физики, французского языка, что их перестанут гонять на работы. Шел слух о том, что толпы женщин, девушек идут по дорогам в дальние лагеря на работы, что красивых отбирают и они исчезают без вести, что в лагерях держат отдельно мужчин и женщин, что запрещают по всем украинским деревням свадьбы. Девушки слышали это, но в душе не верили. Слишком диким казалось все, о чем говорили люди. Они ведь собирались осенью поехать в Глухов, поступить в педагогический техникум. Они читали книги, умели решать квадратные уравнения с двумя неизвестными, они знали о том, что солнце представляет собой звезду, находящуюся в стадии потухания, и что температура его поверхности около 6000 градусов. Они читали «Анну Каренину» и на испытаниях по литературе писали сочинения «Лирика Лермонтова» и «Характеристика Татьяны Лариной». Их покойный отец был бригадиром, полеводом, заведывал хатой-лабораторией и получал письма из Москвы от академика Лысенко. И девушки, смеясь, поглядывали на тряпье, прикрывавшее их, и утешали мать:

— Не плачьте, мамо, не може цього бути, що стало. Адольф згыне, як Наполеон згынув.

Они узнали, что Леня учился в киевской школе в третьем классе, и устроили ему экзамен — задавали

Задачи на умножение и деление. Говорили они всё шопотом и поглядывали на окна, невольно казалось, что при немцах в деревнях детям нельзя говорить об арифметике. И ту бумажку, на которой Леня решал задачку, одна из девочек, кареглазая Паша, мелко-мелко изорвала и бросила в печку.

Лене постелили на полу. Он, несмотря на усталость, не мог уснуть. Разговор о школе очень взволновал его. Ему вспомнился Киев, комната с игрушками, вспомнилось, как отец научил его играть в шахматы и по вечерам иногда приходил к нему, и они играли. Леня хмурился, морщил нос и, подражая отцу, поглаживал подбородок. А отец смеялся и говорил: шах и мат. А рядом с этими воспоминаниями возникали другие — о пожаре, об убитой девочке, которую они видели в поле, о виселице на площади в еврейском местечке, о гудении самолетов. Они мешали друг другу, эти воспоминания; то казалось, не было школы, товарищей, дневного кино на Крещатике, то думалось, сейчас подойдет к его кроватке отец и погладит по волосам, и чувство покоя, счастья наполнит все его утомленное маленькое тело. Отец для Лени был великим человеком. Он безошибочным детским чутьем ощущал духовную силу отца. Он подмечал то уважение, с которым относились к отцу товарищи военные, он замечал, как все они, сидя за столом, умолкали и псеворачивали головы, когда раздавался спокойный,

медленный голос отца. И этот одиннадцатилетний мальчик, беспомощный, бредущий наугад, среди горящих деревень, запруженных наступающими войсками немецкой армии, ни на секунду не поколебался в своих мыслях — отец был таким же сильным, мудрым, каким помнил он его в мирные времена. И когда он шел полем, когда засыпал в лесу или на сеновале, ой ясно знал, что отец идет ему навстречу, что отец ищет его. Он засыпал, а до слуха его доносился негромкий голос Василия Карповича, беседовавшего с хозяйкой.

— Сорок деревень прошел, — говорил старик, — насмотрелся порядка, что смотреть не хочется. А были у нас такие, ждали: порядок, кажут, будет земельный. В одной деревне коров по ведомости доить велели: ходят солдаты два раза в день и молоко отбирают. Вроде как бы в аренду коров сдали колхозникам. А коровы колхозников. В другой всем мужикам сапоги приказали сдать. Ходите, колхозники, босы. Старостов всюду поставили. А эти старосты над народом катуют, а сами не хозяева — от страху не спят. Народ весь сам не свой стал: так сделаешь — нехорошо, иначе сделаешь — и тоже плохо. «Насчет земли, — немец говорит, — это вы забудьте». Сколько сел прошел — ни разу пивень не пропел, ни одного не оставили, всем чисто шеи пооткручивали. Старика одного застрелили, он все на крышу лазил, смотрел на восход,

не идут ли наши. А немец его и пристрелил. Нечего, кажется, на восход смотреть. Понавешали дощечек, а что на их написано, — неизвестно. Стрелы, стрелы всюду показывают. А бабы жалуются — день и ночь приказуют печь топить, варят да жарят. А лопочут, лопочут — бабы прямо злые, ни слова, говорят, по ихнему не поймешь, а все лопочут, как дурные: «матка, матка». Женщин старых не стыдятся — голыми перед ними ходят. Кошки, говорят бабы, в хатах от них не держатся. Старуха мне одна говорила: это дело страшное, если кошка из дому выходит, кошки при нем в доме не сидят; кошку ни огнем, никакой силой из дому не выживешь, а тут сами в огород уходят. А в одной деревне собрал мужиков и чисто так поукраински объясняет: «Вас, говорит, кто угнетал — русский, вот, кажется, враг для Украины». А старики стоят, молчат, а обратно шли, говорят: «Это мы уж слышали, все нас обижали, вот только немец пришел добро нам делать». А в одном селе согнали мужиков сортир для генерала ставить, так гоняли их за сорок верст кирпич возить, чтобы все, как полагается, было. Мне старик казал один — пусть лучше удавят, а я такой работы больше сполнять не буду. Шопот такой стоит, в глаза друг другу не смотрят, душевности никакой. Как со скотом на колхозной ферме — то списуют, то переписуют, то построют по ранжиру, то гопят... Скоро клеймы ставить будут, на каждого пове-

сят дощечку и номерок поставят. Теперь поняли люди — порядок этот немецкий, хуже пламени...

Леня проснулся и сразу же сказал:

— Дедушка, нам, верно, пора идти.

Старик не отозвался. Леня быстро огляделся, Василия Карповича не было в хате, его мешочек лежал на лавке. Мальчик спросил:

— А где дедушка?

У окна сидела хозяйка, смотрела на своих спящих дочерей и слезы текли по ее щекам.

— Забрали, проклятые, ночью забрали, — сказала она, — сегодня деда забрали, завтра дочек моих заберут, пропали мы, пропали.

Мальчик вскочил.

— Кто увел, куда увели? — спрашивал, он, всхлипывая.

— Кто ж увел, известно, — сказала хозяйка и начала ругать немцев: — Чтоб у них очи повылазили, чтоб они не дождались своих детей увидеть, чтоб их всех холера передумила, чтоб у них руки и ноги потсыхали.

Потом она сказала:

— Ты не плачь, хлопчик, мы тебя не выгоним, останешься у нас, будем тебя годувать.

— Нет, не хочу я оставаться, — сказал Леня.

— Куда ж ты пойдешь?

— Пойду к папе своему.

— Та подожди ты, вот самовар вскипит, поснидаешь с нами, тогда побачим, куда тебе идти.

Леня испугался, что хозяйка не отпустит его. Он гихонько встал и подошел к двери.

— Та куда же ты? — спросила хозяйка.

— Я на минуточку, — ответил он, вышел во двор, оглянулся на дверь и бросился бежать.

Он бежал по деревенской улице мимо черных семи-тонных грузовиков, доходивших своими высокими бортами до соломенных крыш, мимо походной кухни, у которой повар разводил огонь, мимо пленных красноармейцев с мертвенно-серыми лицами, сидевших без сапог, в окровавленном грязном белье за плетнем колхозной конюшни. Он бежал мимо желтых стрел указателей, расписанных цифрами и черными готическими буквами. В его голове все спуталось, ему казалось, что он убегает от старухи-хозяйки и ее дочерей, решавших с ним арифметические задачи. Хозяйка будет греть самовар и заставит его с утра до вечера пить чай в запертой скучной хате.

Он добежал до ветряной мельницы и остановился. Путь разветвлялся — одна желтая стрела показывала в сторону деревни, другая — на широкую дорогу с множеством автомобильных и танковых следов. Леня пошел по узкой полевой дороге, на которую не указывали немецкие стрелы, к черневшему вдаль лесу. По этой дороге давно уже не ездили, должно быть весной еще проехала по ней крестьянская телега, и следы колес глубоко отпечатались в закаменевшей глинистой

земле. Через час он подошел к опушке леса. Ему хотелось есть, пить, солнце изнурило его.

В лесу ему стало страшно—то казалось, немцы следят за ним из-за деревьев, ползут из кустарников, то ему представлялись волки и черные дикие кабаны из зоологического сада с длинными клыками и приподнятой верхней губой. Ему хотелось крикнуть, позвать, но он боялся выдать себя и шел молча. Иногда страх и отчаяние бывали так невыносимо остры, что он вскрикивал и бросался бежать. Он бежал, не разбирая дороги, пока не начинал задыхаться. Тогда он садился, отдыхал немного и снова шел дальше. А минутами его охватывала радостная уверенность — ему казалось, что отец идет своим широким, спокойным шагом, зорко вглядывается в чащу и все ближе, ближе подходит к нему.

В одном месте он нашел много ягод и принялся собирать их. Потом он вспомнил книжку про медведей, которые любят ходить на поляны собирать с кустов малину, и поспешил снова в лес.

Вдруг он увидел меж деревьев человека. Он остановился, прижавшись к толстому стволу, и всматривался. Человек стоял с винтовкой, поглядывал в ту сторону, где притаился мальчик, — очевидно, он услышал звук шагов. Леня смотрел, смотрел, густая тень мешала разглядеть стоявшего. Радостный, пронзительный крик разнесся меж деревьев. Красноармеец вскинул винтовку, а мальчик бежал к нему и кричал:

— Дядя... дядя... товарищ... не стреляйте, это я, я, я!

Он подбежал к красноармейцу и, плача, схватился руками за гимнастерку, вцепился в нее так, что пальцы даже побелели.

Красноармеец гладил его по волосам и, качая головой, говорил:

— Где же ты это так ноги разбил совсем, кровь идет... Да ты не цепляйся, нешто я тебя в лес гоню. — Он вздохнул и добавил: — Может, и мой так по лесам один бродит. Да, немцы... Хоть два раза меня убей, я все равно в землю ве лягу, пока он тут козляется.

Вскоре Леня лежал на кровати из листьев, накормленный, напоенный, с обмытыми ногами. На нем был надет красноармейский пояс с пристегнутой настоящей кожаной кобурой, в кобуре лежал его жестяной наган. Вокруг сидели командиры, и он им рассказывал о немцах, которых видел в деревьях.

Подошел Богарев, и все встали.

— Ну как, аспирант, — спросил Богарев, — скоро папу увидишь? Вы, товарищи, дайте путешественнику отдохнуть.

— Нет, я совершенно не хочу отдыхать, — сказал мальчик, — мы сейчас будем с капитаном в шахматы играть.

— Что, товарищ Румянцев, нашли себе нового партнёра? — улыбаясь, спросил Богарев.

— Да, вот приняли решение сыграть партию, — сказал Румянцев.

Они расставили фигуры, и Румянцев, вахмурившись, смотрел на доску. Так прошло несколько долгих минут.

— Почему же вы не делаете хода? — спросил мальчик.

Румянцев резко встал, махнул рукой и быстро пошел в сторону леса.

— Ты не обижайся, мальчик, — сказал стоявший рядом сержант-артиллерист, — он комиссара своего вспомнил, всегда в шахматы играли.

А Румянцев шел, не оглядываясь, и бормотал:

— Не играть нам вовеки веков, Сережа, не играть вовеки веков.

УТРОМ БАТАЛЬОНУ ДРАТЬСЯ

Казалось, лагерь в лесу бездействовал. Но никогда, пожалуй, в своей жизни Богарев не уставал так сильно, как в эти дни подготовки к прорыву немецкой обороны. Он почти не спал ночи, мысль и воля его были напряжены. И это напряжение передавалось всем — командирам и красноармейцам. Богарев беседовал с бойцами, командиры вели учения; между от-

дальными подразделениями налаждалась телефонная связь, радист принимал каждое утро сообщения Информбюро, их перепечатавали на пишущей машинке в нескольких экземплярах, и связной развозил их на захваченном у немцев мотоцикле по лесу, раздавал бойцам. С утра несколько мелких отрядов уходили на разведку, выслеживали немцев, узнавали о движении войск и обозов.

Обмундирование бойцов было приведено в порядок, дисциплина установлена необычайно строгая. За неотдачу приветствия накладывались взыскания, рапорты принимались по форме. И одновременно с суровыми, не знающими отклонений законами дисциплины, крепло товарищество между бойцами и командирами. Необстрелянные и робкие люди постепенно приучались к опасности — им поручалась борьба с немецкими связными мотоциклистами, поимка связистов, уничтожение одиночных грузовиков. В первый раз их отправляли в сопровождении опытных разведчиков, а затем предлагали идти самим, действовать в меру собственной силы и на собственный страх.

Вечером Богарев беседовал с командирами о ходе войны, и его уверенность в грядущей победе, уверенность, основанная не на пустом оптимизме, а выросшая на жестоком знании великих тягот первых месяцев войны, убеждала людей.

Потом Богарев оглядел командиров и сказал:

— Товарищи, сегодня должен вернуться боец, по-

шедший через фронт в штаб армейской группы. Я думаю, завтра мы выступим.

Он остался с Румянцевым — они легли рядом на траву и начали рассматривать карту. Разведка, производившаяся дни и ночи, принесла им много сведений — Румянцев безошибочно определил слабое место в немецкой линии обороны.

— Вот здесь, — сказал Румянцев, — подход через леса, удобно нам будет накапливаться, пройдем лесом до самой реки. Я вообще считаю, что, если двигаться ночью, мы сможем перейти на наш берег без выстрела, проберемся незамеченными.

— Вот так-таки! — проговорил Богарев, — как же вы, товарищ Румянцев, чудесный советский командир, культурный и умный артиллерист, можете помыслить такую ересь.

— Какую? — удивился Румянцев, — какую ересь? Уверяю вас, что мы можем пройти ночью незамеченными. Тут очень жидко у противника, я ведь сам ходил, смотрел.

— Да, именно, именно в этом ересь!

— В чем же, товарищ комиссар?

— Чорт возьми, регулярная часть находится в тылу у противника, а вы предлагаете ей ночью без выстрела проскользнуть. Упустить такую выгодную ситуацию? Да никогда! Мы не будем искать, где у немца пусто. Мы найдем, где у него сконцентрировано побольше техники, ударим с тыла, разгромим его и по-

бедоносно выйдем, нанеся ему жестокие потери. Как же иначе?

Румянцев долго и пристально смотрел в лицо Богарева.

— Простите меня, — сказал он, — но вы, вы замечательный человек! Ей-богу! Правильно — ведь, можно ударить, а не проскальзывать.

— Это ничего, ничего, — проговорил задумчиво Богарев, — инстинкт самосохранения часто шутит на войне шутки с людьми. Нужно всегда помнить, что мы здесь для смертной битвы, что окопы роются, чтобы стрелять из них, а не прятаться, что в щели лезть надо для того, чтобы сохранить себя для страшной атаки, которая будет через час. А людям в какую-то минуту начинает казаться, что блиндажи для того, чтобы прятаться и только для этого.. Эту философскую мысль можно выразить просто, — добавил он: — мы сидим в тылу у противника, чтобы внезапно напасть на него, а не для того, чтобы прятаться в лесу. Так ведь?

— Так, только так.

К Богареву подошел лейтенант Кленовкин.

— Товарищ комиссар, разрешите к вам, — сказал он и посмотрел по привычке на часы, — гость к нам пришел.

— Кто такой? — спросил Богарев, — всматриваясь в лицо стоявшего рядом с Кленовкиным военного.

И вдруг обрадованно вскрикнул: — Да ведь это товарищ Козлов, наш знаменитый командир разведроты!

— Старший лейтенант Козлов, прибыл к вам по распоряжению командира сто одиннадцатого полка майора Мерцалова, — громко, чрезмерно четко отрапортовал Козлов, и умные карие глаза его смеялись, как и в первый день их знакомства.

— Не столько прибыл, сколько дополз на пузе, — негромко сказал он Румянцеву.

Козлов сел рядом с Богаревым. Он подробно передавал план совместного удара, разработанный Мерцаловым. Пункт за пунктом рассказывал он сложную операцию. И время сосредоточения и атаки, и система сигналов для согласованного действия были разработаны во многих деталях. Он очертил место, где будут действовать наши танки, откуда ударит артиллерия и минометы, сообщил, как перерезана будет дорога, по которой немцы попытаются подводить резервы, и как будет бить дивизионная артиллерия по пути возможного отхода немцев. Он передал Богареву золотые часы и сказал:

— Это товарищ Мерцалов просил вам передать свои часы, а у него есть еще никелированные, они выверены секунда в секунду.

Богарев взял часы и повертел их в руке, потом сверил стрелки со своими ручными часами — те отставали на четыре минуты.

— Хорошо. Видно, недаром я наговорил Мерцалову

столько нехороших слов. — Он рассмеялся и сказал про себя: — А может быть, и зря говорил. Тайна сия велика есть.

— Вы примете команду над нашим стрелковым батальоном, — обратился он к Козлову, — а вам, товарищ Румянцев, надо будет, как только стемнеет, выступить, дорога ведь для тяжелых пушек нелегкая по лесу.

— Дорога уже подготовлена, прорублена, кое-где устроены гати, — ответил Румянцев, у которого всегда все было заранее готово.

— Очень хорошо, вот одно нехорошо — курить нечего. У вас нет папирос, товарищ Козлов?

— Я ведь не курю, товарищ комиссар, — ответил виноватым голосом Козлов. — Вы бы меня казнили, если бы слышали, как Мерцалов уговаривал меня взять для вас пару коробок папирос, а я отказывался, говорил: «Есть у них табак, есть».

— Эх, ты, — проговорил сердито Румянцев, — а мы здесь клевер курим.

— Да, это вы нам удружили, — сказал Богарев, — а какие папиросы давал вам Мерцалов?

— Голубая коробочка и белые горы с всадником, «Казбек», что ли.

— Ну, ясное дело, «Казбек». Как вам это нравится, товарищ Румянцев?

— Да, уж видео не везет, — сказал Румянцев,

смеясь, — ты, вероятно, единственный командир-разведчик в армии, который не курит. И подлая судьба нас свела с тобой.

— Вы, товарищи, идите, дела много, — проговорил Богарев.

Через некоторое время красноармейцам объявили о ночном выступлении. Начались сборы. Лица людей, как всегда перед серьезным делом, стали нахмурены и задумчивы. В полусумраке лиственной тени и заката они казались особенно темными, похudevшими, возмужавшими.

Этот лес казался людям обжитым, знакомым домом, — и стволы деревьев, под которыми шли долгие беседы, и поросшие мхом ямы, где так мягко и спокойно спать, и поскрипывание сухих ветвей, и шум листвы, и окрики часовых, стоявших в кустарниках за орешником, и малинник, и грибные места, и стук дятлов, и кукование кукушек. Утром бойцов уже не будет в этом лесу. И многим предстояло встретить смерть и восход солнца на широком поле.

— На-ка, возьми табачницу мою на завтра, в случае убьют меня, себе оставишь, жалко вещь, больно хороша, — сказал один земляк другому, — ведь резиновая вещь, полторы пачки махорки входит, воды, сырости не боится.

— Убить и меня могут, — с обидой сказал второй.

— Да ты ведь в санитарах, а мне первому подниматься. Мой щанец больше,

— Ладно, давай.

— Только смотри, в случае жив останусь, отдай. При свидетелях тебе даю.

Все стоявшие подле рассмеялись.

— Эх, покурить охота, — сказало сразу несколько голосов.

Богарев обходил группы людей, прислушивался к разговорам, шел дальше, снова слушал.

И спокойное, суровое сознание решившейся на смертный бой народной силы охватывало его.

Заходящее солнце пробилось меж стволов деревьев, на миг осветило загорелые лица бойцов, черные винтовочные стволы, поиграло на медных тельцах патронов, которые раздавал старшина, осветило белые бинты перевязок на раненых. И сразу, словно возникшая от этого вечернего солнца, послышалась песня. Ее затянул Игнатьев. Чей-то голос подхватил, затем третий, четвертый. Люди, певшие песню, не были видны за деревьями, и казалось, сам лес пел печально, величаво.

К Богареву подошел красноармеец Родимцев.

— Товарищ комиссар, я к вам от бойцов посланный, — сказал он и протянул Богареву красный матерчатый кисет, вышитый зелеными крестиками.

— Что это? — спросил Богарев.

— Бойцы промеж себя решили, — сказал Родимцев, — как мы тут все без табаку терпим, нашему комиссару собрать покурить.

— Что вы,—сказал Богарев дрогнувшим голосом,— последний табак. Не возьму, я ведь знаю, сам курильщик.

Родимцев сказал тихо:

— Товарищ комиссар, бойцы от чистого сердца к вам. Обидите их сильно.

Богарев посмотрел на серьезное, торжественное лицо Родимцева и молча взял легонький кисет.

— Да и табаку-то у всех с полстакана набралось в грузовик, где курево было, ведь аккурат зажигательный немец пустил, по самому больному месту, знал, куда стукнуть. А бойцы говорят: — Наш комиссар все ночи не спит, карту смотрит. Вот тут-то главное ему — покурить.

Богарев хотел поблагодарить Родимцева и вдруг почувствовал, что волнение сжало ему горло. Впервые за время войны слезы выступили у него на глазах...

Печальная, медленная песня звучала все громче, точно ее раздувало заревом красного вечернего солнца.

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

Мерцалов проснулся задолго до рассвета. В сумерках на столике светлел белый алюминиевый котелок, на двух углах карты лежали ручные гранаты, чтобы не топорщились края. Мерцалов зажег свечу и, глядя

на новую карту, усмехнулся. Это начальник штаба вчера привез из топографического отдела штаба армии новые листы и торжественно сказал:

— Товарищ Мерцалов, по старой карте мы все время отмечали отступление. Я привез новую. Мы ее завтра обновим боем по прорыву германского фронта.

И они сожгли старую карту, замусоленную, стертую на сгибах, отразившую на своей поблекшей, трипично мягкой бумаге кровавые бои отступавшей Красной Армии. Она все видела, старая сгоревшая карта, на нее смотрел Мерцалов на рассвете 22 июня, когда фашистские бомбардировщики перелетели границу и появились над спавшими артиллерийскими и стрелковыми полками, она видела дожди и грозы, ее обесцвечивало солнце в жаркие июльские полдни, ее трепал ветер на широких украинских полях, на нее поверх головы командиров смотрели высокие, старые деревья в белорусских лесах.

— Что ж, — сказал Мерцалов и неодобрительно посмотрел на белый котелок. «Красить их надо в зеленый цвет, а то демаскируют бойца, то солнце на нем заиграет, то белеет среди ночи», — подумал он.

Мерцалов достал из-под нар свой чемоданчик и раскрыл его. Пахнуло смешанным запахом сыра, копченой колбасы, одеколона, душистого мыла. Каждый раз, раскрывая чемодан, Мерцалов вспоминал жену, укладывавшую его вещи в день нападения немцев. — Что ж, — снова сказал Мерцалов и достал пару

белья, носки, чистые портянки. Он побрился и вышел наверх, огляделся.

До рассвета оставалось около часу, восток был еще темен и спокоен, как запад. Широкая ровная мгла лежала над землей. Холодный, темный туман стлался меж ветел и камышей на берегу реки. Нельзя было понять, облачно или ясно темное небо, спокойное и неподвижное.

Мерцалов разделся и, шумно дыша, прошел по холодному, влажному песку к воде. — Ох, ты, — сказал он, ощутив телом воду. Он долго мылил голову, шею, уши, тер мочалкой грудь, темная ночная вода вокруг него поголубела от мыла. Помывшись, он надел чистое белье и вернулся в блиндаж. Он сел на нары и выбрал из пачки накрахмаленный белый воротничок и подшил его к вороту гимнастерки. Он вылил из бутылки на ладонь остатки одеколона и смочил им щеки, попудрил бритые места, собрав пудру, сохранившуюся в рубчиках круглой коробочки. После этого он тщательно обтер щеки влажным полотенцем и начал неторопливо одеваться — надел синие костюмные брюки, гимнастерку, новый ремень. Он долго чистил сапоги — сперва обтер их от пыли, покрыл мазью, навел глянec щеткой и суконкой. После чистки сапог он снова помыл руки, причесал влажные волосы, встал во весь рост, оправил гимнастерку, проверил револьвер и вложил его в кобуру, взял из чемодана писто-

лет и опустил в карман, переложил фотографию жены и дочери в карман гимнастерки.

— Ну, вот так, — сказал он, посмотрел на часы и разбудил начальника штаба.

Начинался рассвет. Холодный ветер зашумел в камышах, подвижной сетью лег на реку, пошел скорым шагом по широкому полю, легко перепрыгивая через окопы, противотанковые рвы, крутя песчаную пыль на холмиках блиндажей, гоня кусты перекати-поле на заграждения из колючей проволоки.

Солнце поспешно поднималось в небо, словно старый судья над огромным земным полем, не знающий волнений и страстей, готовый занять свое высокое привычное место. Темные ночные облака накалялись, как черные глыбы угля, горели мрачным и тусклым кирпичным пламенем. Все в этом утре казалось зловещим, вещающим тяжкий труд битвы. То было простое осеннее утро. По этой земле точно в такое же утро год назад шли приехавшие гостить в деревню рыболовы, и земля эта, и небо, и солнце, и ветер полны были для них мира, покоя и сельской красоты. Но в это лето все стало зловещим — и стоги сена, освещенные луной, и яблоневые сады, и белые стены хат, и тропинки, и ветер, шумящий в проводах, и опустевшие гнезда аистов, и баштаны, и красная гречка — весь чудный мир украинской земли, мокрой от крови и посолоневшей от слез.

Атака началась в пять часов утра. Черные штурмовые самолеты прошли над пехотой. Это были новые, недавно прибывшие на фронт машины. Они шли очень низко, и пехота видела у них под крыльями притаившиеся, готовые к падению бомбы. Дымы поднялись над позициями немцев и низкий перекатывающийся грохот прошел по всему широкому горизонту. Одновременно с первым бомбовым ударом самолетов открыли огонь батареи полковой и приданной артиллерии. Недавно пустой воздух, по которому лишь бежал утренний ветер, весь наполнился свистом и гулом разрывов; ветру стало тесно.

Мерцалову очень хотелось пойти с первым батальоном в атаку, но он сдерживал себя. В эти минуты он впервые внутренне почувствовал всю важность своего пребывания в штабе. «А ведь прав он был, чорт», — сердито подумал Мерцалов, вспоминая свою тяжелую первую встречу с Богаревым. Он каждый день вспоминал этот мучивший его разговор. И сейчас он чувствовал и видел, сколько нитей сражения собрались в его руках. Хотя каждый командир имел с вечера точную задачу и отлично знал, что ему нужно делать, хотя заявки на бомбардировщики, штурмовики и истребители были весьма точно разработаны, и командир батальона тяжелых танков майор Серегин больше часа просидел над картой с Мерцаловым, но с первых же минут после начала сражения энергично начал действовать противник и это сразу потребовало

наворотливого управления всей сложной и подвижной системой.

Два раза налетали советские самолеты на передний край немецкого расположения, черный дым стоял над немецкими окопами и блиндажами. Но когда стрелковые части пошли вслед за тяжелыми танками в атаку, немцы открыли мощный огонь из всех артиллерийских, минометных батарей, противотанковых пушек. Командиры батальонов звонили Мерцалову, говорили, что пехота залегла — огонь противника настолько плотен, что продвижение невозможно. Мерцалов поднялся, отстегнул кобуру — надо поднимать пехоту во что бы то ни стало, прорваться вперед! Это казалось самым простым для человека, не знавшего страха. Закричать: «Вперед, ребята, за мной!» и кинуться в боевое пекло. На мгновение он почувствовал злое разочарование — неужели зря он так тщательно и долго готовил сегодняшнее сражение, неужели зря он впервые с профессорской тщательностью разрабатывал детали готовящегося боя?

— Нет, товарищ начальник штаба, — сказал он сердито, — война была и будет искусством не бояться врага и смерти! Надо подымать пехоту!

Но он не ушел из штаба. Снова зазвонил телефон. за ним тотчас же второй.

— На противника, сидящего в окопах, слабо воздействуют удары с воздуха, он сохраняет свою огне-

вую силу, — говорил Кочетков, — его пушки и минометы бьют беспрерывно.

— Танки встречают сильный огонь артиллерии, пехота залегла, а танки оторвались, ушли вперед, у двоих перебиты гусеницы, — докладывал Серегин. — Считаю дальнейшее продвижение нецелесообразным.

И снова зазвонил телефон — представитель военно-воздушных сил спрашивал об эффекте бомбежек и не нужно ли изменить систему налетов, так как летчики докладывают: наша пехота не продвигается, артиллерия противника сохраняет активность. А в это время в штаб пришел подполковник, представитель артиллерийского управления — у него было несколько важных, требующих немедленного решения, вопросов.

Мерцалов закурил папиросу, нахмурившись, сел за стол.

— Повторим налеты на пехоту? — спросил начальник штаба.

— Нет, — ответил ему Мерцалов.

— Слова предложим пехоте двигаться вперед, передовые подразделения залегли в трехстах метрах от противника. Еще сто метров можно взять рывками, — сказал начальник штаба.

— Нет, — ответил ему Мерцалов.

Он задумался так глубоко, что не заметил, как вошел в штаб дивизионный комиссар Чередниченко. Не посмотрел на него и начальник штаба. Дивизионный

комиссар прошел мимо вытянувшегося часового в блиндаж, сел в темном уголке возле нар, где обычно сидели посыльные, и, посапывая трубкой, спокойно и внимательно слушал телефонные разговоры, наблюдая за лицами Мерцалова и начальника штаба.

Чередниченко приехал к Мерцалову, минуя командный пункт Самарина. Он хотел поспеть к началу атаки и, зная, что Самарин обязательно побывает на месте проведения важной операции, решил встретиться с командармом на передовой.

Мерцалов смотрел на карту, и его обострившаяся до боли мысль видела сражение, как единое целое, где подобно переменному магнитному силовому полю мгновенно то возникали мощные узлы напряжения, то ослабевали и меркли. Он увидел, раскрыл стержень обороны противника, стержень, разрушавший своим острием переменчивые напряжения атаки. Он увидел как отдельные слагаемые, накладываясь одно на одно, лишь сосуществовали механически, не интерферируя подобно усиливающим друг друга колебаниям с одинаковой длиной волны. Мозг его воссоздал в динамической проекции все многочисленные составляющие этого сложного боя. Он мерил ударную живую силу идущих с ревом самолетов, тяжелых танков, огневое давление легких и тяжелых батарей, он ощутил потенциальную энергию войск Богарева, находившихся в тылу у противника. Его словно осветило всего внутри ярким радостным светом. Решение не-

обычайно простое, математически неопровержимое пришло к нему. Так ученый математик или физик в первой стадии исследования бывает подавлен сложностью и противоречивой тяжестью элементов, которые открывает он во внешне простом и обычном явлении; ученый с великим напряжением соединяет, пытается привести во взаимосвязь эти рассыпающиеся, противоречащие друг другу слагаемые; они выскальзывают упрямые, быстрые, упругающиеся. И как награда за тяжкий труд анализа, за напряженные поиски решения, приходит ясная и простая мысль, снимающая всю сложность и дающая единственно правильное, восхитительное в своей неопровержимой простоте решение. Этот процесс называется творчеством. И нечто подобное пережил Мерцалов, решая сложную задачу, возникшую перед ним. Никогда, пожалуй, не испытывал он такого волнения и такой радости. Он сказал о своем плане начальнику штаба.

— Но ведь это находится в противоречии... — и начальник штаба перечислил, в противоречии с чем находится предложение Мерцалова.

— Что ж, — сказал Мерцалов.

Он задумался на мгновение. Да, для того, чтобы принимать ответственное решение за штабной картой, иногда требуется больше силы и мужества, чем для подвига на поле битвы.

Но Мерцалов нашел в себе это мужество, мужество ответственного решения. Бывало, что после ера-

жения у командира спрашивали ответа, а он говорил: «Когда я увидел, что дело плохо, я шел впереди всех. Что мог я еще сделать?» — Но Мерцалов знал, что эта великая жертва не могла ничем исчерпать ответственности за исход сражения.

Дело было таково. Удары авиации не могли подавить немецкой пехоты, закопавшейся в землю. Немецкая артиллерия и минометы препятствовали движению танков, отрывали наступавшую пехоту от машин. Пехотные подразделения, прорвавшиеся вперед, ослабленные и подавленные огнем артиллерии и минометов, попадали под удар немецких автоматов и пулеметов. Артиллерия наша, превосходившая немецкую почти вдвое, распыляла свои силы, ведя огонь по широкому фронту переднего края немецкой обороны. Мерцалов видел, что огневые усилия русских самолетов, танков, артиллерии и пехоты, равномерно распределенные по всем элементам немецкой обороны, лишь четвертую, либо пятую часть своей мощи отдавали борьбе с немецкими пушками и минометами. Ихто и следовало сломать, в борьбе с ними был ключ к успеху на первом этапе атаки.

И Мерцалов, не повышая голоса, передавал указания полковой и приданной полку дивизионной артиллерии, тяжелому танковому батальону, штурмовикам, бомбардировщикам и истребителям, по заявкам полка бомбившим и обстреливавшим немцев. Он приказал

пехоте отойти и занять исходное положение для наступления на том участке фронта, где у немцев были расположены огневые позиции большей части артиллерии и минометов. Мерцалов знал, что немцы, надеясь на мощь артиллерии, в этих местах имели лишь небольшие пехотные заслоны. Мерцалов знал, что силой огня, имевшегося в его распоряжении, он без труда подавит немецкую артиллерию. Он избрал для атаки самый сильный участок немецкого фронта, так как понял и ощутил возможность внезапно превратить его из сильного в самый слабый, подготовленный для прорыва.

Начальник штаба внутренне ахнул, слушая распоряжения Мерцалова. Пехоте сосредоточиться против артиллерийских и минометных батарей! Отойти без боя с занятых с великим трудом и кровью участков!

— Товарищ Мерцалов! — сказал он. — Неужели отходить пехоте?

— Тридцать пять лет я Мерцалов, — сказал командир полка.

— Товарищ Мерцалов, мы продвинулись на восемьсот метров вперед, неужели не закрепим?

— Приказ мной отдан, менять я его не намерен.

— Но вы ведь знаете, — тихо сказал начальник штаба, — как Самарин строг ко всякому приказу об отступлении. А здесь, в самом начале атаки, да после

недавнего нашего неудачного отхода вы ведь ставите все на карту.

— Вот на эту карту, — сумрачно сказал Мерцалов, указывая на стол, — и бросьте, Семен Гермогенович, об этом говорить, я все знаю, не маленький, мне не до шуток.

У входа в блиндаж послышались громкие голоса. Мерцалов и начальник штаба быстро поднялись, к ним шел генерал Самарин.

Он посмотрел на расстроенное лицо начальника штаба и, поздоровавшись кивком головы, спросил:

— Ну, как — прорвали?

— Нет, товарищ генерал-майор, — ответил Мерцалов, — еще не прорвал, но прорву.

— Где ваши батальоны? — отрывисто спросил Самарин. Подъезжая к штабу полка, он встретил отходящие танки и пехоту, спросил лейтенанта, по чьему приказу они отходят. «По приказу командира полка Героя Советского Союза майора Мерцалова», — четко отрапортовал лейтенант. И ответ этот привел Самарина в бешенство.

— Где ваши батальоны, почему они отходят? — страшным своим спокойствием голосом спросил Самарин.

— Отходят планово, по моему приказу, товарищ генерал-майор, — ответил Мерцалов и вдруг увидел, что Самарин, вытянувшись, смотрит на человека, идущего

щего к нему из затемненного угла блиндажа. Он всмотрелся и тоже вытянулся: перед ним стоял член Военного Совета фронта.

— Здорово, здорово, Самарин, здравствуйте товарищи, — сказал Чередниченко, — пришел не поздравившись к вам в блиндаж, спасибо часовой пропустил, да и сидел тут на нарах, смотрел как вы воюете.

«Все равно я прав, — подумал упрямо Мерцалов, — докажу».

Чередниченко поглядел на хмурого Самарина, на взволнованного начальника штаба и сказал:

— Товарищ Мерцалов!

— Слушаю, товарищ дивизионный комиссар...

Мгновение дивизионный комиссар смотрел прямо в глаза Мерцалову. И в этом спокойном и немного грустном взгляде Мерцалов с радостью и облегчением увидел, что дивизионный знает все. Он почувствовал, что Чередниченко понял, какой важный и торжественный момент происходит в боевой жизни командира пслка.

— Товарищ Мерцалов, — медленно сказал Чередниченко. — Я радуюсь на вас, товарищ Мерцалов. Вы руководите боем отлично, я уверен в вашем успехе сегодня. — Он мельком посмотрел на Самарина и продолжал:

— От лица службы спасибо вам, майор Мерцалов.

— Служу Советскому Союзу, — ответил командир полка.

— Ну, что ж, Самарин, поехали? — сказал Чередниченко, обнимая генерала за плечо. — Разговор у нас есть. Да и надо людям работать дать, а то понаехало начальство, они стоят навтыяжку, а дела у них много, пусть поработают.

Выходя из блиндажа, он подошел к Мерцалову и спросил негромко:

— Ну, как ваш комиссар, майор? — и улыбаясь, совсем тихо добавил: — Разок поругались с ним? Верно говорю? Было?

И Мерцалов увидел, что Чередниченко словно присутствовал при ночном чаепитии, словно напомнил о понятой им тайной связи между той ночью и сегодняшним днем.

СМЕРТЬ НЕ ПОБЕДИТ!

Наблюдатели Румянцева сидели совсем близко от немцев. Лейтенант Кленовкин, лежа в кустах, видел, как два офицера, выйдя из подземного укрытия, пили кофе, курили. Он слышал их слова, видел, как телефонист докладывал им и один из офицеров, очевидно, старший, передавал телефонисту распоряжения. Кленовкин с огорчением посмотрел на свои часы — зря он не изучал в свое время немецкого языка, — ведь сей-

час мог бы он от слова до слова подслушать их разговоры. Гаубицы стояли на лесной опушке в тысяче метров от того места, где лежал Кленовкин. Там же сосредоточилась пехота. Раненых тоже подвезли поближе — они лежали на носилках и в грузовиках, подготовленные к тому, чтобы в любую минуту двинуться вперед вслед за бросившейся в прорыв пехотой.

Телефонист Мартынов, лежавший рядом с Кленовкиным, с особым интересом смотрел на немецкого телефониста. Его смшил и сердил этот немец, занимавшийся сходной с его профессией.

— Хитрая морда, видать — пьяница, — шептал Мартынов, — а пусти его на наш аппарат, — не поймет. Немец-то!

Необычайное напряжение охватило всех, начиная от лежавшего рядом с немецким блиндажом Кленовкина и кончая ранеными и мальчиком Лейей, ожидавшими в полутемном лесу начала атаки. Все слышали канонаду, стрельбу автоматов и пулеметов, разрывы авиабомб. Часто над головами красноармейцев с ревом пролетали к немецким позициям самолеты. Большого труда стоило людям сдерживать себя — не помахать руками, не крикнуть, когда машины переходили в пике над линией немецких окопов.

Богарев волновался не меньше других. Он видел, что и Румянцев, и бесстрашный, смешливый Козлов напряжены и измучены ожиданием. Прошли услоелен-

ные этапы расписанной заранее атаки. Прошло условленное время совместного удара, а сигнала все не было. Когда шум боя усиливался, командиры прерывали разговор и вслушивались, всматривались. Но нет Мерцалов не звал их.

Необычайно и странно воспринимался на слух этот бой войсками, находившимися в тылу у немцев. Все звуки приходили с обратным знаком — разрывы снарядов были русскими, орудийные залпы шли от немцев, над головой иногда свистела залетная пуля, и это был свист русских пуль, а треск автоматов и пулеметные очереди немцев звучали особенно зловеще и тревожно. И эта необычность, перевернутость звуков боя тоже волновала людей.

Красноармейцы лежали за деревьями, в кустах, в высокой, неснятой конопле и слушали, напряженно всматривались в ясный утренний воздух, лишь местами темневший от дыма и земной пыли.

О, как хороша была в эти минуты земля! Какими благостными казались людям ее тяжелые складки, желтые пригорки, овражки, поросшие репейником и пыльными лопухами, лесные ямы. Какой чудесный запах шел от земли — лиственчой прели, сухой пыли и влажной лесной сырости, запах мирного праха и грибов, сухих ягод и многожды презвшего и вновь высухавшего хвороста. Ветер приносил с поля теплый и печальный запах вянущих цветов и сохнувших трав;

в полутьме леса, внезапно пронзаемой солнечным светом, вдруг пыльной радугой заблестит увлажненная росой паутина, словно дохнуло чудо спокойствия и мира.

Вот лежит, уткнувшись лицом в землю, Родимцев. Спит он, что ли? Нет, его глаза внимательно смотрят в землю, на стоящий подле куст шиповника. Он шумно дышит, втягивает в себя запах земли. Он смотрит с интересом, жадно и почтительно на дела, происходящие вокруг него, — муравьи колонной идут неясным для человеческого глаза трактом, волокут сухие травинки, палочки. «Может быть, у них тоже война, — думает Родимцев, — вот и ползут колонны мобилизованных на строительство рвов и укреплений. Или это хозяин ставит себе новый дом и тянутся плотники, штукатуры на работу...»

Огромен мир, который видят его глаза, чует ухо, втягивают с воздухом ноздри. Аршин земли на опушке леса, куст шиповника. Как велик этот аршин земли! Как богат этот отцветший куст! По сухой земле тонкой молнией прошла трещина; муравьи проходят по мосту в строгом порядке один за другим, а по ту сторону трещины терпеливо выжидают встречные. Божья коровка — толстая баба в ситцевом красном сарафане — мечется, ищет перехода. Ох, ты, — полевая мышь блеснула глазом, привстала на задние лапы и прошуршала среди травы, словно и не было ее здесь. Подул ветер, и трава гнется, пригибается, каждая по-

своему, одна покорно быстро ложится к земле, другая упрямо, сердито дрожит, топорщится своим бедным тощим колосом — воробьиным житом. А на кусте шевелятся ягоды шиповника — желтые, красноватые, закаленные солнцем, словно глина — огнем. Давно уже видно, брошенная хозяйном паутина мотается на ветру в ней запутались сухие листья, кусочки коры, в одном месте она обвисает под тяжестью свалившегося в нее жолудя. Она, словно невод, выброшенный на берег после гибели рыбака.

А сколько такой земли, леса, сколько бесчисленных аршин, где жизнь. Сколько зорь краше, чем эта, было в жизни Родимцева, сколько летних быстрых дождей, сколько птичьего крика, прохладного ветра, ночного тумана! Сколько работы! А какие были славные часы, когда он приходил с работы и жена сурово, но с душевной любовью спрашивала: «Обедать будешь?», и он ел мятую картошку с постным маслом и глядел на своих детей, на загорелые руки жены в спокойной духоте избы. А сколько жизни впереди... Много ли? Ведь все может кончиться вот теперь, минут через пяток. И сотни красноармейцев лежат так — думают, вспоминают дом, жену, детей, смотрят на землю, на деревья, кусты, вдыхают запах утра. Нет лучше в свете этой земли.

Игнатьев задумчиво говорит товарищу:

— Слышал я как-то, два лейтенанта-зенитчика между собой говорили — вот война идет, а крутом сады,

птицы поют, им вроде и дела нет до наших делов. Вот я все думаю. Это неправильно, не увидели лейтенанты сути. Война эта всей жизни коснулась — ты возьми лошадей. Чего только не терпят! Или, помню, стояли мы в Рогачеве — там все собаки по тревоге в погреба лезли; суку одну я заметил — собачат в щель прятала, а как налет кончится — обратно гулять выводила. Ну, а птица — гуси, куры, индюшки — разве они от немца не терпят? И тут, кругом — в лесу, я замечаю, птица пугаться стала, — чуть самолет летит, тучей поднимаются, галдят, шумят, мечутся. Сколько леса пропало! Сколько садов! Или вот я сейчас думал — идет бой на поле, мы тут залегли под тыщу человек — всех этих муравьев да комарей кувырком вся жизнь пошла.

Он приподнялся и, глядя на товарищей, сказал с веселой печалью:

— Ох, и хорошо жить, ребята! Ведь только в такой дель и поймешь, вот, кажется, тысячу лет бы так пролежал и не наскучило бы! Дышишь!

Богарев слушал бой. Внезапно гул разрывов стал затихать, краснозвездные самолеты больше не летали над немецкими позициями. Неужели натиск отбит? Неужели Мерцалов не смог надломить настолько оборону немцев, чтобы совместно с Богаревым начать общую атаку? Тоска сжала сердце Богареву. Мысль о возможной неудаче Мерцалова была невыносима, жгуче тяжела. Он не взвидел света солнца, казалось

синее небо померкло, стало черным, он не видел широкой поляны, раскинувшейся перед ним, все исчезло — и деревья, и поля. Одна лишь ненависть к немцам заполнила его всего — здесь, на опушке леса он ясно представлял себе ту черную силу, которая расползлась по народной земле. Земля народа! В мечтаниях Мора и утопиях Оуэна, в трудах светлых умом философов Франции, в записках декабристов, в статьях Белинского и Герцена, в письмах Желябова и Михайлова, в словах ткача Алексеева выражалась вечная тоска человечества о земле, не ведающей рабства, о жизни, построенной на законах разума и справедливости, о земле равномущих, о земле, уничтожившей вечное неравенство между работающими и дающим работу. Тысячи и тысячи русских революционеров погибли в борьбе. Богарев знал их, как старших братьев, он читал о них все, он знал их предсмертные слова и письма, писанные матерям и детям перед смертью, он знал их дневники и тайные беседы, записанные увидевшими свободу друзьями, он знал их путь в сибирскую каторгу, этапы, где они ночевали, централы, где заковывали их в кандалы. Он любил этих людей и читал, как самых близких и родных. Многие из них были рабочими в Киеве, печатниками в Минске, портными в Вильно, ткачами в Белостоке, — городах, теперь захваченных фашистами.

Богарев каждым дыханием своим любил эту землю, завоеванную в невиданных трудах гражданской войны,

в муках голода. Землю, пусть еще бедную, пусть живущую в суровом труде, суровыми законами...

Он медленно проходил между залегшими бойцами, останавливался на мгновение, говорил несколько слов, шел дальше.

«Если через час, — подумал он, — Мерцалов не даст сигнала, я подниму людей в атаку, самостоятельно прорву немецкую оборону... Ровно через час».

Для него этот бой сегодня после долгого отступления стал символом перелома и зрелости. «Мерцалов должен иметь успех, — сказал он Козлову, — иначе не может быть, иначе я ничего не видел и ничего не понял». Он заметил Игнатьева и Родимцева, подошел к ним, присел на траву. Ему казалось, что в этот миг они говорили и думали о том же, что и он.

— О чем вы тут? — спросил он.

— Да вот про комарей рассуждаем, — с виноватой усмешкой сказал Игнатьев...

«Вот оно что, — подумал Богарев, — неужели мы о разных вещах думаем в этот час?»

Сигнал увидели десятки людей — это были красные ракеты, склоненные от русских линий к немецким. Сразу же загремели выстрелы румянцовских гаубиц. Тысяча людей замерла. Гром гаубиц извещал немцев о том, что в их тылу притаились русские войска.

Богарев оглядел быстрым, радостным взором поле, пожал руку Козлову, который шел на правом фланге,

сказал ему: «Дорогой друг, надеюсь на вас», вобрал побольше воздуха в грудь и протяжно закричал:

— За мной, товарищи, вперед!

И ни один не остался лежать на милой, теплой,летней земле.

Богарев бежал впереди и неведомое чувство охватило все его существо — он увлекал за собой бойцов, но и они, связанные с ним в единое, вечное и нераздельное целое, словно толкали его вперед. Он слышал за собой их дыхание, ему передавалось горячее и быстрое биение их сердец. Это народ отвоевывал свою землю. Богарев слышал топот сапог, это была поступь перешедшей в атаку Россия. Они бежали быстрее и быстрее, а «ура» все росло, все крепло, поднималось все выше, разливалось все шире. Его услышали сквозь грохот битвы перешедшие в штыковую атаку батальоны Мерцалова. Его услышали крестьяне в далекой, занятой врагом, деревне. Это «ура» слышали птицы, поднявшиеся высоко в небо. От этого «ур-р-а» дрожал синий воздух и замерла земля.

Немцы дрались отчаянно. Они мастерски и быстро приняли круговую оборону, открыли огонь из пулеметов. Но две волны русской пехоты шли навстречу одна другой. Красноармейцы перепрыгивали через рвы и окопы, рвали провода, бросали гранаты в автомобили и бронемашину. Стальные танки, закопанные в землю, загорелись от жаркого русского огня. Неужели многие из этих людей недавно боялись в лесу громкого сло-

ва, неужели они прислушивались к крику ворон, принимая его за немецкую речь? Уже не только слышали батальоны Мерцалова «ура», раздающееся из немецкого тыла, уже видели они пыльные лица товарищей, покрытые тяжким потом боевого труда, уже различали они гранатометчиков и стрелков, уже различали они черные петлицы артиллеристов и звезду на фуражке лейтенанта Козлова. А немцы все еще сопротивлялись. Может быть, не только смелость руководила их упорством. Может быть, опьянявшая их вера в свою непобедимость не хотела покинуть немцев в минуту поражения? Может быть, солдаты, привыкшие семьсот дней побеждать, не могли и не хотели еще понять, что этот семьсот первый день стал днем их поражения?

Но прорвана и перерезана линия фронта...

Вот первых два бойца встретились, обнялись и в боевом шуме раздался голос:

— Браток, папиросочку, неделю не курил!

Вот подняли руки первые окруженные немецкие пулеметчики, вот закричал горбоносый, веснушчатый автоматчик: «Рус, не стреляй», и кинул наземь черный автомат. Вот уж пошли, опустив головы цепочки пленных без пилоток, с раскрытыми на груди мундирами, недавно распахнутыми в пылу боя, с вывороченными карманами, доказывающими, что нет у солдат пистолетов и гранат. Вот уже вывели из штаба писарей,

телеграфистов, радистов. Вот молча рассматривают суровые запыленные бойцы толстое тело застрелившегося немецкого полковника. Вот уже считает быстрый взгляд молодого командира немецкие пушки и автоматы, машины и танки, брошенные на поле боя.

— Где комиссар? — спрашивали друг у друга бойцы.

— Где комиссар? — спросил Румянцев.

— Кто видел комиссара? — спросил Козлов, вытирая пот со лба.

— Комиссар все время был с нами, — говорили бойцы, — комиссар был с нами.

— Где комиссар? — громко спрашивал Мерцалов, идя среди обломков машин, весь запыленный, грязный, в изорванной пулями новой гимнастерке.

И ему отвечали:

— Комиссар был впереди, комиссар был с нами.

По затихавшему полю боя, безжалостно освещенному солнцем, проехал маленький зеленый броневик. Из него вышел Чередниченко.

— Товарищ член Военного Совета, — сказал ему Мерцалов, — вон в том обзесе, который подъезжает, ваш сын. Его вывел со своим отрядом Богарев.

— Леня мой, — сказал Чередниченко. — Сын?

Он посмотрел на Мерцалова, и Мерцалов не ответил, опустил глаза. Молча стоял Чередниченко, глядя на машины, выезжавшие из леса.

— Сын, — снова сказал он, — сын.

И, повернувшись к Мерцалову, спросил:

— Где комиссар?

Снова молчал Мерцалов.

Ветер прошумел над полем...

Оттуда, где догорало пламя, шли два человека. Все знали их. То были Богарев и Игнатъев. Кровь текла по их одежде. Они шли, поддерживая один другого, тяжело и медленно ступая.

Цена 60 коп.